

БРАТ АФОНЯ

Якши. Слово, которое спасёт от депрессии



Аркадий Лаптев

Брат Афоня

Аркадий Лаптев

Брат Афоня

«Автор»

2026

Лаптев А. П.

Брат Афоня / А. П. Лаптев — «Автор», 2026 — (Брат Афоня)

Вы устали? Серые будни, работа, кредиты, одиночество? Вы забыли, когда смеялись так, чтобы соседи вызывали полицию? Тогда эта книга — ваш билет в мир, где грязь становится золотом, просроченная колбаса — лекарством, а смех журналистки разбивает стёкла и обращает в бегство здоровенных негров. Знакомьтесь: Афоня, сантехник-философ, знающий о жизни всё. Федос, вор с вечным позывом в туалет. Сугроб, глухой старик, поверивший в СМС про биткоины. Яшка, существо с лексиконом из одного слова «Якши». Катя журналистка, чей хохот рушит, стёкла и судьбы. Вас ждут: платный туалет и драка с билетёршей, балет с мужиком в гамашах, клуб «Малиновый туман» с тверком под Валенки, элитная квартира с коньяком, разнесённая в щепки, и негры в песочнице, играющие на щелбаны и в ужасе бегущие от Катиного смеха. Эта книга — антидепрессант без рецепта. Откройте — и вы забудете, что такое уныние. Гарантируем: вы будете ржать, плакать и требовать добавки.

© Лаптев А. П., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Аркадий Лаптев

Брат Афоня

Глава

Книга первая

Пролог

И вот, наконец, наступило то самое благодатное время, когда наступил коммунизм, который мы все так долго строили и ждали. Только этот коммунизм наступил не для всех.

Те, кто попал в него, оказалось немного и они стали называть себя олигархи, а те, кто оказался не так хитёр и проворен, остались достраивать то, что осталось, и пытаться выжить. В общем, наступило то самое время, о котором нам день и ночь вещал зомбоязиц о равенстве и братстве. Но толи диктор был подкуплен и завербован всеми враждебными странами, толи он был дурак от природы. Получилось всё наоборот. Наступило всеобщее неравенство и волчьи законы.

И в этих суровых законов городских джунглей, нашему герою придётся выживать и бороться за существование.

О том, как осенью лучше не выходить из дома.

Сентябрь в нашем городе — это время, когда небо плачет, но не потому, что ему грустно, а потому, что у него аллергия на местный ЖЭК. Дожди идут вперемежку с окурками, листья падают не на землю, а в лужи, а настроение у людей такое, будто они только что узнали, что пенсию опять задержали, и за коммуналку опять нечем будет платить, но не удивились, потому что привыкли.

В общем, самое время для праздника.

Особенно для «Праздника микрорайона», посвящённого Дню работников леса. У нас, конечно, леса рядом нет — одни гаражи и стройка, замороженная ещё при царе Горохе. Но это никого не смущает. В нашем городе празднуют всё, что можно и что нельзя. Например, День шахтёра отмечают даже те, кто никогда не спускался под землю, кроме как в подвал за банкой солёных огурцов. А День работников леса — те, кто последний раз видел дерево в кабинете начальника. Праздник это повод забыться от повседневного ужаса и безнадёги. Хотя последнее время народ празднует как-то вяло. В основном из-за страха быть уволенным с работы, где вместо денег ему дают еду. То есть деньги на еду. Потому как больше ни на что не хватает. Как говаривал дед Матвей « У дурака что ни день то праздник, потом выходные, а там и до Нового Года не далеко, но не многие попадают на этот праздник жизни, так-то внучок»

Но традиции есть традиции.

К десяти утра парк был готов. Вернее, почти готов. То есть арка стояла, сцена была собрана, даже туалет привезли. Правда, арка с надписью «С днём работников леса!» кренилась влево, потому что кто-то экономно заменил воздух в буквах на выдохи местных алкашей. Буквы получились кривые, как отечественный автопром. Но главное — буквы были. И это уже считалось успехом.

Зрителей собралось немного. Человек семь. Но каких!

У сцены, вооружившись зажигалками (кто настоящими, кто пластилиновыми, а кто и просто пакетом из «Шестёрочки»), они изображали нечто среднее между рок-концертом и коллективным помешательством. Раскачивались как маятники, но — что важно — каждый в свою сторону.

Бабушка с внуком, ей пообещал местный депутат, за этот поход подарить вафельный торт. Внука она прихватила за компанию, ну не оставлять же его дома одного, в конце концов, а то может и квартиру спалить. Два мужика в странной одежде пациенты психдиспансера. Дедушка с бешеной собакой так же был соблазнен вафельным тортом. Дедушка с собакой стоял на почтительном расстоянии от своего пса — настолько почтительном, что поводок (бельевая верёвка, привязанная к поясу деда) звенела как струна. Собака не рычала. Она улыбалась. Зубами. Красные глаза с лёгким косоглазием следили за каждым движением деда. Пена из пасти капала на асфальт, образуя узоры, которые искусствовед назвал бы «постмодернистский ужас».

— Трезор, — тихо, чтобы не провоцировать, сказал дед. — Ты помнишь, что мы пришли за тортом? Торт сладкий. Тебе сладкое нельзя. У тебя диабет, я тебе сто раз говорил.

Собака дёрнула поводок. Дед сделал шаг вперёд, сам того не желая.

Тётка с вечным удивлением и диагнозом на лице (она же пациентка, она же та, что позже гениально резюмирует ситуацию) стояла с открытым ртом и вертела головой. В её голове сейчас шёл тихий, но настойчивый процесс: совмещение реальности с инструкцией по эксплуатации.

Мужчина, который общался с инопланетным разумом через заклинание «Пепе, инейне, фа, ватафа», временно отключился. Инопланетяне взяли перерыв на обед, видимо, его инопланетный разум требовал паузы и очередной порции таблеток. Он просто стоял и кивал в такт музыке.

Собрали всех менее буйных из психоневрологического диспансера и на скорой привезли в парк, оставив под присмотром санитаров, которые прятались в кустах. Скорее всего, основной народ не пожелал окультуриваться и спрятался.

Санитары в кустах обменялись многозначительными взглядами. Один из них (тот, что с биноклем) прошептал:

— Всё идёт по плану. Никто не сбежал, не разделся, не начал читать лекцию о вреде глютенa. Для нас это успех.

Второй санитар, который должен был изображать диск-жокея на сцене, уже сидел возле магнитофона и с умным видом нажимал на кнопку «перемотка вперёд». Магнитофон не перематывал, он просто вздыхал.

Но на чудеса в этом городе никто не рассчитывал.

Чудеса здесь случались только тогда, когда их никто не ждал. И чаще всего — в неподходящем месте.

Например, возле синей кабинки платного биотуалета.

Но об этом — чуть позже.

А пока на сцене появился он. Артист. Завхоз. Рок-звезда микрорайонного масштаба.

Глава первая

Праздник, который всегда с тобой (потому что от него нельзя уйти)

Артист вышел на сцену так, будто только что победил в конкурсе красоты среди слесарей. Походка — вразвалочку, взгляд — в никуда. Он знал: сегодня его день.

На нём были узкие кожаные штаны. Насколько узкие, что они не надевались — они вплавились в тело при помощи лома и мата. Штаны трещали на каждом шагу, но артист держался мужественно. Ещё бы — он их всего три года назад купил в секонд-хенде, и это была лучшая сделка в его жизни.

Поверх — майка с пятном от борща. Пятно было стратегическим: оно не стиралось, не выводилось, не поддавалось ни одному из известных человечеству пятновыводителей. Артист считал это пятно своим талисманом. Он всем говорил, что это очень дорогой дизайнерский принт.

Куртка — чёрная кожаная, с рукавом, на котором флаг Зимбабве. Никто в парке не знал, что это флаг Зимбабве, все думали, что это какой-то новый бренд спортивной одежды.

Артист взял микрофон. Микрофон был старый, советский, с проволокой вместо шнура и микротрещиной в корпусе. Когда артист говорил в него, создавалось впечатление, что он разговаривает с покойниками или вызывает духов.

— Дорогие работники леса! — провозгласил артист. — Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!

В толпе никто не отозвался. Работников леса здесь не было. Но артист не унывал.

— Лес — это наше всё, — продолжил он. — Из леса делают бумагу, мебель, и даже туалетную бумагу. Представляете? Без леса нам пришлось бы подтираться... — он замялся, не подбирая слова, — ...листьями. А они тонкие.

Кто-то в толпе громко высморкался. Артист воспринял это как поддержку.

— А теперь — музыка!

Он махнул рукой в сторону магнитофона. И санитар в халате, который внимательно следил за происходящим. После подачи сигнала стал с усилием давить на все кнопки. Пояснение Санитар сам когда-то был пациентом заведения. Магнитофон, стоявший на раскладном стуле, издал звук, похожий на стон умирающего бизона. Потом зашипел. Потом — заиграл.

Звук: «...Крылья весны...»

Песня была собственного сочинения. Лучшая песня для праздника леса. Потому что у леса тоже есть крылья. Ну, не у леса, а у птиц... ну, вы поняли.

Артист закрыл глаза, прижал руку к сердцу и запел. Голос у него был не поставленный, не тренированный — просто громкий. Он пел так, будто хотел перекрыть колонки. И это ему удавалось, потому что колонки периодически теряли сознание: то вокал пропадёт, то музыка замолкнет, то возникнет ощущение, что магнитофон пытается сказать вам что-то важное, но не знает, как.

Артист не обращал внимания. Творческий процесс не может быть прерван техническими накладками. Это знает любой художник. И завхоз.

Зрители раскачивались. Кто-то даже подпевал. Бабушка с кем-то оживлённо говорила по телефону, «Артиста? Вижу! Вижу! Как живой прям». Внук не подпевал, он всё ещё пытался зажечь пластилиновую зажигалку. Ему это не удавалось, но он не сдавался. Дед с собакой смотрел в другую сторону и кивал. Собака грызла поводок и думала: «Вот убью старый хрыч тебя во сне».

Мужик в килте и мужик в пижаме обнялись. Они всегда обнимались, когда звучал «Наутилус». Это была их традиция.

Чувак «Пепе, шнейне, фа, ватафа» зачем-то начал красить лицо зубной пастой.

И только тётка с пакетом из «Шестёрочки» по-прежнему ничего не понимала.

— А я думала, это сова, — сказала она пустоту.

Рядом со сценой, на расстоянии вытянутой руки от этих «ценителей искусства», стояла ярко-синяя кабинка платного биотуалета. Кабинка была новой, сверкающей, пахнувшей химией и безнадёгой. На дверце висела табличка:

«ПЛАТНЫЙ БИОТУАЛЕТ. 50 РУБ. За повторное посещение — скидка 10%».

И это была не просто кабинка. Это было градообразующее предприятие. Единственное в микрорайоне, которое работало без перебоев, выходных и отпусков. Сюда шли, как на работу. Сюда ходили, как в храм. Только вместо молитв — звуки, которые не услышишь даже на ско-тобойне.

Билетёрша — женщина с лицом, которое повидало столько человеческих унижений, что на нём можно было изучать историю распада СССР по главам, лет пятидесяти, грузная, в вязаной красной шапке с козырьком — сидела на раскладном стульчике и читала дамский роман.

Роман назывался «Любовь в контейнере». Она читала его уже второй раз и всё ещё не могла понять, почему героиня не бросила героя на первой странице.

— Дура, — бормотала билетёрша. — Такая же дура, как я в молодости.

Она не поднимала глаз. Её ничего не удивляло. Она слышала всё. А слышала она многое.

Потому что каждые тридцать секунд дверь кабинки открывалась и кто-то входил. А выходил — через две минуты, с бледным лицом и пустыми глазами.

Причина была проста: артист-завхоз.

Один куплет — и очередь в туалет выстраивалась сама собой. Не потому, что хотелось. А потому, что организм требовал. Желудок сжимался в узел, кишечник начинал играть соло на тамбурине, а печень кричала: «Я сейчас сдохну».

Кто-то бежал блевать. Особо чувствительные — блевали прямо не доходя, но потом всё равно шли в кабинку, потому что на асфальте неловко.

Кто-то пробирало на понос. И это были самые дисциплинированные граждане — они терпели до кабинки, хотя лицо у них становилось цвета хаки.

И когда артист, зажмурившись, вскидывал кулак и выдавал очередное «Где твои крылья...», над парком поднимался гул.

Это был не просто гул. Это была симфония. Оркестр, в котором каждая секция играла свою партию:

басовые колонки, от которых сотрясались ближайшие берёзы,

звук рвущегося линолеума из кабинки — фирменный «ТРЫ-Ы-Ы-Щ!»,

ритмичный пердеж, который накладывался на ударные,

и финальный аккорд — влажное, предсмертное «БЛЮ-ААА-БЛЮ-ААА!».

Это небо гудело. Голуби падали с крыш. Бабушка с внуком крестилась уже не от восторга, а по привычке.

А билетёрша переворачивала страницу романа «Любовь в контейнере» и думала:

— Двадцатый клиент за час. Неплохо. Если так пойдёт, к вечеру соберём на новые стёкла в ЖЭКе.

Очередь из трёх человек переминалась с ноги на ногу. У каждого была мятая пятидесятирублёвка.

— Ну что там? — спросил один.

— Сейчас, — ответила билетёрша, не отрываясь от книги. — Две минуты осталось.

— Две минуты до чего?

— Не знаю. Но осталось.

В кабинку забежали и выбегали люди. Кто-то выходил просветлённым, кто-то — опустошённым. В общем, как обычно.

А по аллее, ведущей к этому святилищу микробов, шли двое.

Одного звали Афоня. Другого — Федос.

Они не знали, что этот день изменит их жизнь. И не подозревали, что через каких-то полчаса один из них будет покрыт с ног до головы коричневой жижей, а другой — драться с билетёршей на глазах у камеры местного телевидения.

Они просто хотели в туалет.

Это было их главным желанием на сегодня.

И, как выяснится позже, самым опасным.

Но пока Афоня и Федос пересекали парк, поправляя на ходу ремни и мысленно проклиная всё на свете, на противоположной стороне аллеи разворачивалось не менее значимое событие.

Местное телевидение — канал «Дом-2» (нет, не тот, а «Домашний-2», который вещал из подвала ЖЭКа и имел зрительскую аудиторию в лице трёх бабушек и кота Васьки) — решило

осветить праздник. Потому что больше освещать было нечего: крыша соседней пятиэтажки уже три года как лежала, а губернатора в этом месяце уже аж два раза показывали.

Оператор — мужик лет пятидесяти с лицом человека, который видел, как в прямом эфире падает шкаф на ведущего, и с тех пор ничему не удивляется. На плече у него болталась тяжёлая камера образца двухтысячного года — такими можно забивать сваи или отбиваться от бомжей. Камера гудела, иногда издавала звук «дзз-дзынь», и оператор каждый раз ласково похлопывал её по объективу, как старую лошадь.

Рядом — журналистка Катя. Тридцать пять лет, в активном поиске, но активность эта, судя по всему, ограничивалась периодическим обновлением анкеты в приложении «Ты и я — одна семья». На ней чёрный плащ (расстёгнут, потому что грудь тесно), красная юбка (сантиметров на пять выше колена — не то чтобы она специально, просто в магазине не было длиннее), белая блузка (застёгнута на одну пуговицу ниже, чем полагалось по дресс-коду, но дресс-кода на канале не было, был только дефицит бюджета) и белые кроссовки. Кроссовки супер-чистые, потому что новые. Надежда на лучшее, обутая в кожаных.

Катя говорила громко. Очень громко. Она перекрывала не только музыку из колонок, но и тот момент, когда колонки исчезали в нирване, и артиста, и даже санитаря, который пытался объяснить диск-жокею, что кнопка «play» — круглая.

Оператор навёл камеру. Включил красную лампочку. Катя мгновенно преобразилась: улыбка до ушей, глаза как у лемура в документалке National Geographic.

— Дорогие телезрители! — заорала она так, что голуби на ближайшей арке взлетели. — С вами Екатерина, и мы ведём прямой репортаж с Праздника микрорайона, посвящённого Дню работников леса!

Пауза. Она глянула в шпаргалку, написанную от руки на салфетке. На салфетке жирным было подчёркнуто: «НЕ ЗАБУДЬ СКАЗАТЬ ПРО ЗАМУЖ».

— Работник леса — это очень почётная профессия! — продолжила Катя, стараясь, чтобы голос звучал доверительно, как у бабушки, которая даёт внуку конфету перед уколом. — Они там... ну, работают. В лесу. Сажают деревья, а потом их пилят. Не знаю, как у них — я больше по городской журналистике, — но у нас сегодня настоящий праздник! Перед вами выступает знаменитый заслуженный артист местной филармонии...

Она прищурилась на сцену, пытаясь разглядеть табличку. Артист в этот момент исполнял сложное па: он присел, вытянул руку в сторону туалета и издал звук, похожий на вой одинокого шкала.

— ...как же его... — Катя замялась. — Спуюнов? Да, Спуюнов! Говорят, он сам написал эту песню. Про крылья. Очень душевно! У нас, кстати, в городе тоже много крылатых. Голубей. И они очень талантливые, да.

В этот момент один из голубей, который сидел на арке и внимательно следил за репортажем, принял стратегическое решение. Он слегка приподнял хвост и произвёл меткую бомбардировку прямо на правое плечо Катиного плаща. Белое с серым отливом пятно растеклось по чёрной коже, словно авторский принт.

Катя не заметила. Она была профессионал.

(замечает, что колонки захрипели)

— Вот и техника его поддерживает! — сказала она, когда колонки издали финальный хрип и замолкли, а потом снова заиграли, но уже «Не сыпь мне соль на перец». Артист не растерялся и запел её с тем же надрывом, что и «Где ж ты, пенсия моя невысокая?». — Смотрите, как люди радуются! Сейчас я подойду к зрителю...

Катя сделала шаг. Оператор последовал за ней. И тут произошло нечто, что в прямом эфире не должно происходить никогда, но происходило всегда.

Из-под сцены, не торопясь, вышла крыса. Не какая-то парковая дохлятина, а крупная, наглая, с мордой заправского бандита из девяностых. Крыса осмотрела присутствующих, оценила их потребительскую стоимость, чихнула и двинулась прямо к дедушкиной собаке.

Собака, которая до этого смотрела на деда с философской ненавистью, увидела крысу — и на секунду растерялась. Этот сбой в программе стоил ей авторитета. Крыса подошла, (зашипела) и с размаху тяпнула пса лапой по носу.

Пёс взвизгнул. Дед выронил поводок. Собака, забыв про бешенство и философию, рванула прочь в кусты, увлекая за собой половину верёвки. Крыса рванула за собакой.

Оператор всё это снимал. Не потому что хотел, а потому что трясся от смеха. Камера ходила ходуном, картинка скакала, как на стиральной машинке во время отжима. В объектив попало: сначала пятно на платье Кати, потом её растерянное лицо, потом артист, который уже ничего не видел и не слышал.

Артист-завхоз действительно вошёл в раж. Он уже забыл, где сцена, где парк, где планета Земля. Он пел — и не просто пел, а горлопанил на весь микрорайон:

— Больно мне, больно и страшно, Не унять мне зубную боль.!

Текст был не из «Навигатора», а явно из каких-то глубин подсознания завхоза, который в молодости ходил в самодеятельность, где кое-как репетировали известные песни. И теперь, спустя двадцать лет, слова вышли наружу — страшные, нелепые, но искренние.

Санитар, который сидел на сцене и нажимал кнопки магнитофона, вдруг замер. Он повернул голову к артисту, потом к кустам, где прятались его коллеги. В его взгляде читалась одна мысль:

«Может, сделать ему укол? Нет, рано. Или не рано?»

Он достал из кармана халата шприц. Ампулу. Поглядел на артиста. Артист в это время встал на одно колено и завыл «Не оди-и-ин я в по-о-оле-е-е!!!» так, что у бабушки зазвенело в ухе.

— Потом, — сказал себе санитар и убрал шприц обратно.

Катя, наконец, заметила пятно на плече. И кроссовки — грязные? Нет, кроссовки всё ещё были белыми (чудо из чудес). Она улыбнулась в камеру, хотя оператор трясся так, что в кадре было только размытое пятно её улыбки.

— С вами была Екатерина, — сказала она, быстро крестясь левой рукой, — и я ещё не замужем! Всем пока!

Она махнула рукой. Оператор опустил камеру — но не полностью, а так, чтобы снять, как у артиста развязался шнурок и он наступил на него во время следующего кувырка.

— Живи, эфир, — прошептал оператор и выключил запись.

В парке снова остались только музыка, пердеж, и наглая крыса, которая догнала собачонку и месила её как котлету.

А по аллее подходили двое.

Афоня и Федос.

Они ничего этого не видели. Они видели только синюю кабинку.

За час до того, как они вышли на аллею, усыпанную окурками и шелухой, они сидели в дальней части парка, там, где скамейки помнили времена, когда краска не была такой облезлой, а надпись «Люда + Саша» ещё не дополнили словом «Дураки».

Скамейка была чугунная, крашенная когда-то синей краской, но теперь похожая на карту боевых действий: пятна ржавчины, выцарапанные ругательства, следы от окурков. Окурков на асфальте вокруг было как звёзд на небе, только грязнее. Рядом валялась пустая пластиковая бутылка из-под пива «Жигулёвское» — этикетка отклеилась и плавала в луже. Шелуха от семечек устилала землю так плотно, что можно было подумать, будто здесь всю зиму жила белка-наркоманка.

На скамейке сидели Афоня и Федос. Вокруг толклись голуби. Один, гигантский, с голубем орлиного сложения, устроился на спинке и наклонял голову то влево, то вправо — будто снимал документальное кино про деградацию человечества.

Афоня был разгорячён, как лектор на кафедре альтернативной экономики. В руке у него болталась полпалки «Докторской» колбасы — с зеленоватым отливом, который даже сквозь полиэтилен внушал страх и дикий ужас. За пазухой топорщился свёрток. Федос откинулся на спинку, глаза слипались, щетина на лице росла быстрее, чем турпоток в Крым. Он не спал сутки — сначала искал ключи, которые лежали в кармане куртки, потом слушал, как сосед сверху сверлил стену в воскресенье в пять утра, потому что у соседа тоже был кризис среднего возраста.

— Вот ты знаешь, Федос, — начал Афоня, тыча колбасой в небо, как указкой, — я вот прям брезгую отовариваться в магазине. Одна пластмасса! Есть ничего невозможно. Да ещё при нашей зарплате... У меня зарплата, между прочим, тринадцать тысяч. Тринадцать! Это даже не прожиточный минимум, это прожиточный микроскоп.

Федос кивнул, не открывая глаз. Голова его медленно кренилась к плечу — как Пизанская башня, только без туристов и с меньшими перспективами.

— Я вот помню, раньше нам показывали негров по телеку, — продолжал Афоня, разогреваясь. — Они там, в Америке, стоят с плакатами «Готов работать за еду» и жалуются на весь мир. А я теперь посмотрел на себя — я тоже готов работать за еду. Только кто мне её даст? У нас даже на помойке конкуренция. Приходят бомжи с высшим образованием. Один, я тебе клянусь, вчера на баке решал интегралы. Интегралы, Федос! Он решал интегралы, чтобы вычислить оптимальную траекторию извлечения банки тушёнки из глубины контейнера. Вот куда катится мир. Умные люди на помойках, а дураки — как мы — сидят на скамейках и слушают концерты работников леса.

Голубь на спинке согласно кивнул — или просто клюнул себя под крылом, непонятно.

Афоня понизил голос до конспиративного шёпота:

— Понимаешь, Федос, я решил разорвать этот порочный круг. Выйти из матрицы. Теперь только питаюсь на помойках. Ты не поверишь, сколько там всего! Вчера нашёл полпалки «Любительской» — там были такие красивые белые пятна... Сегодня вот «Докторскую» — смотри, какой экземпляр.

Он с победным видом протянул колбасу к самому носу Федоса. Тот слабо отмахнулся, как от назойливой мухи, которая пыталась рассказать ему про астрологию.

Колбаса была великолепна в своём упадке. На срезе зеленоватые и синеватые вкрапления образовывали карту звёздного неба, какую и в телескоп не всегда увидишь. Афоня смотрел на неё с любовью.

— Я тебе открою один секрет, — сказал он доверительно. — Если пластмассовая колбаса из магазина типа салями полежит какое-то время сверх положенного срока, да ещё и в помойке достигнет нужной ферментации — она приобретает непередаваемый вкус и целебные свойства.

Федос, наконец, приоткрыл один глаз. Мутный, красный, с сомнением маленького ребёнка, которому предлагают съесть брокколи.

— Целебные? — выдавил он голосом умирающего кота.

— А ты думал, эти зелёные пятна что? — Афоня ткнул в колбасу пальцем и отломил маленький кусочек. — Это, Федос, пенициллин. И прочие витамины. Знаешь, как сейчас антибиотики дорогие? Я в аптеку зашёл на прошлой неделе — так у меня там давление подскочило от цен. А тут — халява! Природа сама заботится о нас. Бесплатно. Ну, почти. С учётом затрат на транспорт до помойки и обратно.

Голубь на спинке скамейки склонил голову — то ли усомнился, то ли попросил попробовать. Афоня строго посмотрел на него.

— Ты чего смотришь? Ты сам всю жизнь из помойки жрёшь. Молчи уже. Ещё критиковать меня будете. Крысы летающие.

Федос от монотонного монолога Афони и бессонной ночи начал клевать носом. Ключнул раз, другой, третий. Глаза закрылись полностью, дыхание стало ровным, как у спящего младенца. Афоня толкнул его локтем в бок. Федос дёрнулся.

— А? Ты про чё? — пробормотал он, не просыпаясь.

— Про колхоз! — обиженно сказал Афоня. — Там рыбу продают! А шелуху за так дают!

— Да не ори ты так, — Федос потрогал голову, которая явно пыталась отделиться от шеи. — Голова без тебя и так раскалывается.

Афоня не слушал. Он решительно достал из-за пазухи бутылку водки «Белая Горячка». Жидкость была мутной. С удовольствием открутив пробку, и кинул её в голубя. Голубь с укоризной перелетел на соседнюю ветку, но недалеко — ему было интересно, чем всё закончится.

Раздалось то самое «буль-буль-буль-буль» — будто кто-то топил маленькое судёнышко в болоте. Афоня сделал глубокий, профессиональный глоток — грамм сто пятьдесят, не меньше. Глаза закрыл.

— Кхрря-я-я! — выдохнул он с таким чувством, будто только что защитил диссертацию. — Пошла, родимая!

Лицо разгладилось, будто на нём включили утюг.

Он протянул бутылку Федосу. Тот, услышав слово «родимая», рефлексивно открыл глаза. Рука потянулась сама собой, даже без участия сознания — выработанный годами рефлекс, как у павловской собаки, только вместо лампочки — водка. Федос схватил бутылку, с блаженной улыбкой (первой за сегодня) запрокинул голову и начал пить — жадно, с присвистом, булькая. В этот момент он стал похож на поэта Серебряного века, только без поэзии и серебра.

Кадык Федоса дёргался, как поршень в моторе старого мотоцикла на последнем издыхании.

Оторвавшись от бутылки, он выдохнул, смаргивая слезу.

— Ну... давай свою заразу, — сказал он с надеждой человека, который уже согласен на всё, кроме работы.

Афоня торжественно протянул ему большой, жирный ломоть просроченной колбасы. Федос понюхал. Лицо его сложилось в гармошку. Он взвесил кусок на ладони — как сапёр взвешивает мину.

— Не бойсь! — подбодрил Афоня голосом тренера по выживанию. — Мужики в космосе и не такое ели — и ничего, до сих пор живые. Ну, некоторые.

— Да-а-а... — махнул он рукой. — Была — не была.

Федос закрыл глаза и с мученическим лицом начал жевать. Жевал долго, с усилием, как будто пережёвывал собственную жизнь, разочарования и квитанцию за коммуналку.

Афоня удовлетворённо кивнул. Налил ещё — теперь уже себе. Закусил тем же — отрезал новый кусок, пожевал с видом сомелье, который распознаёт в аромате ноты «подвала» и «вчерашнего борща».

Голубь на ветке терпеливо ждал крошек. Крошек пока не было.

И в этот момент Федос, сам того не замечая, начал проявлять признаки беспокойства. Он трогал карман плаща. Потом другой. Обыскивал себя, как таможенник на границе, который забыл, куда спрятал контрабанду.

— Слушай... Афоня... — встревоженно сказал он. — У меня тут сыр был.

— Какой сыр? — спросил Афоня, не отрываясь от колбасы.

— Ну, нормальный сыр. Я его утром завернул в газету, положил в левый карман. Хотел с тобой разделить. По-братски.

— И чё?

Федос зашарил в кармане так, будто надеялся найти там портал в другую реальность.

— А нету. Пусто. Только листовки. И... дырка. Смотри!

Он вывернул карман. Оттуда вылетели рекламные листовки — «Снимем квартиру посуточно», «Ремонт холодильников с выездом», «Гадалка баба Нюра снимет порчу, проклятье, последствия вчерашнего». А на дне кармана зияла дырка. Неаккуратная, будто её прогрызли.

Афоня перевёл взгляд с дырки на землю под скамейкой.

И там была она.

Та самая наглая крыса, которая позже — через час — даст леща дедушкиной собаке. Сейчас она сидела на задних лапах, как ручной хомячок, и держала в передних лапах объёмистый кусок сыра, завернутый в газету «Аргументы и факты». Крыса, судя по всему, любила прессу.

Взгляд у крысы был хитрющий. Она не бежала. Она смотрела на Федоса с лёгким презрением, мол, «что ты мне сделаешь, мешок с похмелем?». Медленно, демонстративно она откусила кусочек сыра. Пожевала. Глаза закрыла от удовольствия.

— Афоня... — прошептал Федос сиплым голосом. — Она... она мой сыр ест. У меня. Из кармана. Сы-ыр!

— Ого, — сказал Афоня с интересом биолога-натуралиста. — Ни хрена себе крыса. Ты гляди, как ловко, она у тебя, дырку прогрызла.

Крыса, словно поняв, кивнула. Или нет — просто чихнула.

Афоня захохотал — гулко, раскатисто, как человек, который не смеялся уже два дня.

— Вот это бизнес! Ворюга помойная. Федос, поздравляю. У тебя не крыса, у тебя компаньон по выживанию. Она у тебя сыр спёрла, а ты даже не почувствовал. Ты бы так просто в карман чужому человеку не пролез, а она — легко.

— Да ты чё, это же мой сыр! — Федос вскочил, но тут же сел обратно — голова закружилась. — Мой! Я его на базаре купил... ну, почти купил. Нашёл на базаре. Ты же сам учил — питаемся на помойках! А она... сволочь... перехватила!

Федос попытался пнуть крысу ногой. Войлочный ботинок «Прощай молодость» описал дугу, но крыса — явно бывалая — отпрыгнула, перевернулась в воздухе и приземлилась. Сыр она держала в зубах. Газету бросила — пусть читают.

Крыса издала звук — не писк, а что-то вроде фыркания с присвистом, села на задницу, положила сыр на лапы и продолжила есть. Прямо перед носом у Федоса.

— Вот так всегда, — обречённо сказал Федос, садясь обратно. — Утром у тебя есть сыр — а к обеду его ест крыса, у которой совести нет.

Афоня достал бутылку. Налил остатки. Крыса смотрела на бутылку с любопытством.

— Ну, за здоровье твоей знакомой! — провозгласил Афоня, кивнув на крысу. — Будем знакомы: Афоня, Федос, а это — Роксана. Потому что наглая, как рок-звезда.

Крыса по имени Роксана никак не отреагировала. Она жевала сыр.

Афоня выпил. Федос смотрел на опустевший карман. Голубь на ветке наконец решил осмелеть и спустился на край скамейки. Крыса не обратила внимания — у неё был сыр, а голуби ей не конкуренты.

Афоня повернулся к Федосу и произнёс речь, достойную античного философа, если бы тот ел просроченную колбасу:

— Вот так, Федос. Вот так мы и живём. Воруют у нас сыр наглые твари, вместо колбасы в магазинах пластмасса, а зарплата такая, что даже на антибиотики не хватает, приходится их на помойке в виде плесени добывать. Мы с тобой — национальное достояние, только никто об этом не знает. Даже мы сами.

Он отрезал ещё кусок колбасы и протянул Федосу. Тот взял, уже без отвращения — привык.

— Достояние... — устало повторил Федос. — Достояние сидит на скамейке и смотрит, как крыса ест его сыр

Где-то вдалеке раздался первый аккорд «Валенки, валенки. Эх, не подшиты стареньки».

Начинался праздничный концерт. Музыка доносилась издалека, приглушённая, как радио в соседней квартире.

На скамейке сидели два философа. Между ними стояла почти пустая бутылка «Белой Горячки», лежала зелёная колбаса, клевал шелуху голубь и доедала сыр наглая крыса Роксана, не собираясь ни за что извиняться.

Через некоторое время Федос начал беспокойно ёрзать. Сначала чуть-чуть. Потом сильнее. Потом так, что скамейка завибрировала.

— Ты чего, Федос? — спросил Афоня. — Крыса тебя укусила, что ли?

— Нет... — выдал Федос через силу. — Колбаса... твоя целебная... Кажется, начала действовать.

— Я же говорил — пенициллин! — с гордостью сказал Афоня. — Организм очищается. Это выходит всё лишнее. Терпи, Федос. Ты сильный.

Федос сжал бёдра и сделал странное движение — как пингвин, который очень хочет, но стесняется.

Афоня посмотрел на него с сочувствием и налил остатки водки.

— Держи. Запивай. И пошли. Я знаю одно место. Там чисто. Ну, почти.

Час спустя они шли по аллее, усыпанной прошлогодними листьями, шелухой от семечек и окурками. Теперь мы знаем, почему они здесь оказались.

На Афоне было короткое чёрное пальто, свитер с высоким воротником, чёрные берцы и синие джинсы. Лицо человека, который вчера не ложился, но сегодня уже успел выпить и съесть полпалки просроченной колбасы. Глаза смотрели исподлобья, но в них блестело озорство. Он был гладко выбрит — чувствовалось, что старался перед выходом в люди. Походка его называлась «негр-сутенёр», хотя негра он видел только по телевизору, а сутенёрство в их микрорайоне давно заменили коллекторы.

Федос был тощий, нервный, двигался как пингвин на раскалённой сковородке. Он сжимал бёдра так, что мог бы открывать ими орехи. Местами он подпрыгивал на ходу, будто пол под ним начинал превращаться в лаву.

— Федос... — сказал Афоня, краем глаза поглядывая на метания товарища. — Ты это... Терпи. Я вижу — синяя кабинка. Совсем рядом.

— Афоня... — ответил Федос сквозь зубы, с глазами человека, который видит свет в конце тоннеля, и этот свет — дверца биотуалета. — А если я не дойду...

— Дойдёшь, — Афоня хлопнул его по плечу. — Куда ты денешься. У нас с тобой сегодня важное дело.

Федос не помнил. Но сейчас ему было всё равно. Сейчас он помнил только одно: пятьдесят рублей и синяя дверца.

Афоня и Федос идут в сторону сцены. Вернее, идёт Афоня — походкой «негра-сутенёра». Федос же не идёт, а совершает сложное эволюционное движение: ноги перебирают, туловище зажато, бёдра сведены так, будто он пытается удержать внутри себя ядерную боеголовку.

И вдруг Федос останавливается. Замирает, как олень в свете фар приближающегося грузовика. Лицо его, и без того бледное, приобретает оттенок свежего свекольного кваса.

— Всё, — выдавливает он сдавленным голосом. — Афоня, я сейчас лопну.

Афоня продолжает жевать семечку — щёлкает её мастерски. Даже не поворачивает головы.

— Мне уже кажется, — продолжает Федос, закатывая глаза, — что тёплая струя бежит по моей ноге. А ведь там ещё ничего не бежит. Это фантом. Предчувствие. Организм издевается.

— Терпи, Федос, — невозмутимо говорит Афоня, сплёвывая шелуху. — Ты же мужик.

— Какое, на хрен, мужик?! — Федос сгибается пополам, складываясь, как перочинный нож, который пытаются закрыть без рук. Он хватается рукой за то место, которое в приличном обществе не называют вслух, но именно там сейчас разворачивались тектонические процессы.

И тут просроченная колбаса сказала своё веское слово.

Раздался звук. Это был не просто звук. Это была музыка сфер, если бы сферы были сделаны из ржавого линолеума, а музыку писал композитор, который всю жизнь мечтал о карьере истязателя. ТРЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Щ-Щ-Щ-ЩЬ! — рывкнуло под Федосом так, что ближайшие голуби взлетели.

Бабушка с внуком, которые до этого раскачивались в такт «Валенкам», вздрогнули. Внук выронил пластилиновую зажигалку. Бабушка на секунду оторвалась от телефона.

— Надо же, — сказала она, но без осуждения, — Артист, видать, за душу берёт.

Внук поднял зажигалку и спросил:

— Бабуль, это дядя покакал?

— Молчи, — ответила бабушка, снова уставившись в телефон. — Не покакал, а художественно выразил несогласие с современной музыкой.

Два мужика — один в килте поверх треников, другой в пижаме с оленями — переглянулись. Пациент в килте уважительно кивнул. Пижамный пациент, который обнимался с ним при каждом аккорде, прошептал:

— Наш человек.

— Похоже на наш, — согласился килтовый. — Но тембр другой. У нас в палате Коля так же умеет, но он после кефира.

Тётка «А я думала, это сова» наконец открыла рот:

— А это не сова, — сказала она задумчиво.

Чувак с заклинанием «Пепе, шнейне, фа, ватафа» на секунду оживился, будто его инопланетный разум подсказал, что пора вмешаться, но передумал. Пожал плечами и снова потух.

Федос между тем не прекращал своей арии. Звуки лились один за другим, но уже не такими мощными аккордами, а дробью — как будто кто-то сыпал горох на раскалённую сковороду.

— Нет, — простонал Федос, приплясывая на месте. — ... Я больше не могу. Кажись мне ногу оторвало. Ай-яй-яй-яй-яй!

Он начал метаться. Бежал в одну сторону. Возвращался. Бежал в другую ничего не помогало.

Афоня наконец соизволил повернуть голову. Сначала он посмотрел на Федоса. Потом на его сведённые судорогой ноги. Потом на то место, откуда доносилась эта симфония. Лицо его выражало смесь профессионального любопытства патологоанатома и лёгкого неодобрения.

— Федос, — спросил он хмуро. — Мать твою. Ты чо, уже обделался?

Федос не ответил. Потому что отвечать было некогда.

— Я... — начал было он, но новый звук — жалобный, писклявый, совсем не похожий на предыдущий монументальный рык — перебил его. Федос издал нечто среднее между «и-и-и-и» и «ы-ы-ы-ы», сжался и стал похож на сморщенный гриб.

Афоня замер. А потом его лицо изменилось. Расслабленное выражение сменилось сосредоточенным — как у терминала, который сканирует пространство. Взгляд скользнул по артисту на сцене (тот уже перестал петь и просто стоял с поднятым кулаком, видимо, ожидая, когда колонки снова оживут), по массовке из пациентов, по билетёрше в красной шапке, по очереди в туалет.

И наконец, зацепился за ярко-синюю кабинку. На дверце было выведено: «ПЛАТНЫЙ БИОТУАЛЕТ. 50 РУБ. За повторное посещение — скидка 10%».

— Платный, — произнёс Афоня с такой интонацией, будто объявлял приговор. Не радостно, не печально, а констатируя факт: ещё один винтик в машине цинизма.

Федос перевёл взгляд на кабинку. Потом на Афонию. В глазах его читалась вся история человеческого страдания: от первых людей, изгнанных из рая, до современного офисного работника, которому не повысили зарплату.

— У нас... — прошептал Федос панически, срываясь на фальцет, — у нас денег нет.

Афоня с минуту молчал. Щёлкал семечку. Потом улыбнулся — не той улыбкой, которая предвещает доброту, а той, которая предвещает авантюру.

— Понял, — сказал Афоня и поправил воротник пальто. — Сейчас ты увидишь чудеса уличной магии.

Он вынул изо рта шелуху, прицелился и бросил пластиковый стаканчик в урну. Стаканчик описал дугу, ударился о край урны, отскочил, проехался по асфальту и остановился у ног тётки «А я думала, это сова». Та посмотрела на него, потом на Афонию, потом снова на стаканчик и громко сказала:

— А я думала, это сова.

— Так и было задумано, — ответил Афоня, небрежно махнув рукой, и переключил внимание на кабинку. В его взгляде читалось: «Сейчас будет весело».

Камера местного телевидения, которую оператор всё это время держал на плече, наконец перестала трястись. Он переключил внимание с артиста (артист застыл в театральной позе и мычал себе под нос) на кабинку туалета, а с кабинки — на Афонию и Федоса. Картинка была что надо: двое колоритных мужчин, один из которых мелко подпрыгивает и издаёт странные звуки, а второй выглядит как режиссёр, который вот-вот отдаст команду «Мотор!».

Катя, заметив, что объектив смотрит не в её сторону, быстро сориентировалась и снова засияла в кадр.

— А вот и социальная инфраструктура! — провозгласила она, указывая рукой на синюю кабинку. — Кстати, обратите внимание, туалет ярко-синий — это чтобы его было видно из космоса. Очень удобно для работников леса. А также для всех, кто, как говорят у нас в народе, не отличает берёзу от сосны, но очень хочет приобщиться к природе!

Она сделала паузу и добавила, понизив голос до интимного шёпота:

— Говорят, если долго смотреть на этот туалет, он начинает смотреть на тебя. Но я проверять не буду, потому что у меня прямой эфир и я ещё не замужем.

Бабушка, стоящая с внуком в первом ряду массовки, краем уха услышала это и покачала головой.

— Замужем она не замужем, — проворчала бабушка. — А туалет платный.

Афоня между тем уже делал свой первый шаг к кабинке. Походка его изменилась: из расслабленно-наглой превратилась в деловую, почти официальную. Он шёл не как человек, желающий справить нужду, а как переговорщик, который сейчас заключит сделку века.

Федос, сжав бёдра так, что они могли бы служить пресс-папье, ковылял следом, не веря в успех.

— Афоня, — простонал он. — Ты уверен?

А камера оператора тем временем взяла их обоих крупным планом: двое мужчин, один с лицом авантюриста, другой с лицом мученика, на фоне поющего артиста и ярко-синей кабинки, которая ждала своего часа.

Ярко-синяя кабинка возле сцены. Табличка: «ПЛАТНЫЙ БИОТУАЛЕТ. 50 РУБ. Детский — 30 руб. Студентам скидка 5% при предъявлении справки из деканата, что ты действительно учишься, а не прогуливаешь пары». Мелким почерком приписано: «Иногородним — как повезёт».

Рядом стоит БИЛЕТЁРША — грузная женщина лет пятидесяти, в вязаной красной шапке, из которой торчит козырёк, собственноручно вырезанный из картонной коробки из-под телевизора. Поверх синего засаленного халата — жилет со светоотражающими полосками. Полоски отражают свет даже от лампочки в туалете, но солнце уже давно не видели. Билетёрша сидит на раскладном стульчике, читает дамский роман «Любовь в контейнере». Это уже третье прочтение, и она наконец поняла, что героиня должна была бросить героя на странице сорок три, а не на сто восьмидесятой. Но поздно. Книга закрыта, жизнь продолжается. Лицо её —

каменный сфинкс, ни одна морщина не дрогнет. Разве что левая бровь иногда поднимается, когда кто-то пытается заплатить двадцаткой и попросить сдачу.

Перед кабинкой — ОЧЕРЕДЬ. Небольшая, но пёстрая, как ковёр в бабушкиной комнате. Толпа поклонников артиста-завхоза — человек пять-семь — переминается с ноги на ногу. Все хмурые, сосредоточенные, как перед экзаменом, который нельзя пересдать. У каждого в руках мятые купюры по пятьдесят рублей. Один пытается расплатиться мелочью, но билетёрша молча показывает ему табличку: «Монеты не принимаем, кроме десятирублёвых».

ОЧЕРЕДЬ (по порядку):

Бабушка с внуком. Тот самый внук, у которого не работала пластилиновая зажигалка. Теперь зажигалка валяется где-то под кустом, а внук приплясывает, держась за штаны обеими руками. Бабушка уже подсчитывает в уме: тридцать рублей за внука — это десять минут её пенсии. Но депутат обещал вафельный торт, так что расходы окупятся. Должны окупиться.

Два странных мужика — в килте и пижаме. Оба не понимают, зачем они здесь, но раз все стоят, то и они стоят. Килтовый тихонько напевает «Полёт шмеля», пижамный сжимает в кулаке пятьдесят рублей и смотрит на кабинку с нежностью, какую обычно испытывают к потерянной родине.

Дед с собачкой. Собачка уже успела насрать под куст и теперь сидит смирно, как плюшевая. Дед же переминается и косится на билетёршу. Из его кармана торчит поводок — верёвка, которую собака перегрызла час назад, когда дралась с крысой. Дед не заметил. Дед вообще перестал замечать детали после того, как вышел на пенсию.

Тётка из мема «А я думала, это сова». Она вообще не понимает, зачем пришла. Но раз все стоят — и она стоит. В руках у неё пакет из «Шестёрочки», в пакете — полбатона и скисший кефир. Она периодически поворачивает голову к сцене, потом к кабинке и произносит: «А я думала это сова...» Глубокая философская мысль, достойная Монтеня.

Чувак «Пепе, шнейне, фа, ватафа». Он смотрит на кабинку, шевелит губами и периодически выкрикивает свою магическую фразу. «Пепе, шнейне, фа, ватафа».

Бабушка с внуком подходит к билетёрше. Она наклоняется к уху каменного сфинкса и тычет пальцем в сторону чувака «Ватафа». Шёпотом, чтобы не услышали посторонние:

— Эт чё? Он молитву штоль, какую или заговор читает?

Билетёрша не поднимает глаз от книги, но бровь её лезет вверх. Она отвечает тоже шёпотом, но таким шёпотом, который слышно за версту:

— Это он так запоры у людей лечит. Метод народный, научно не доказанный. Но очередь, видите, стоит. Люди верят. Кстати, ваш внук у нас по детскому тарифу? Или уже исполнилось двенадцать? Покажите паспорт.

Бабушка растерянно хлопает глазами. Какой паспорт, если внуку восемь?

— Тогда тридцать рублей, — безапелляционно заявляет билетёрша. — И без фокусов.

Пока бабушка отсчитывает мелочь, внук уже не просто приплясывает — он начинает совершать круговые движения тазом, как египетский танцовщик, только менее грациозно.

— Бабуль, я сейчас умру, — шепчет он.

— Не умрёшь, — отвечает бабушка. — Я за тебя уже тридцать рублей заплатила. Умрёшь после, на свежем воздухе.

Билетёрша невозмутимо принимает плату. Купюры она прячет в нагрудный карман — там уже шелестит целое состояние, рублей триста-четырееста. Мелочь отправляется в банку из-под майонеза «Хозяюшка». Банка почти полная, края блестят. Работает билетёрша чётко, как автомат: «Пятьдесят. Детский тридцать. Следующий». Голос у неё монотонный, как у диктора метеосводки, который сообщает, что завтра опять будет дождь, и никто не удивится.

Очередь вздыхает. Скрип открывающейся двери кабинки. Входит внук. Дверь закрывается. Через минуту — входит бабушка? Нет, бабушка осталась снаружи, она просто проверяет,

не забудут ли там внука. Она уже готова штурмовать кабинку, если через две минуты дверь не откроется.

Кабинка живёт своей жизнью. Из неё периодически доносятся звуки, которые не описать словами, но можно попытаться:

БЛЮ-АА-БЛЮ-АА-ААА! — глухое, предсмертное, как крик умирающего тюленя, которого заставили слушать оперу.

ТРЫ-Ы-Ы-Щ-Щ-Щ-Щ-ЩЬ! — классика, рвущийся линолеум. Соседи сверху уже привыкли, но голуби каждый раз взлетают.

БАХ! — что-то упало. Возможно, ведро. Возможно, надежды на светлое будущее. Или просто с полки рухнул освежитель воздуха «Морской бриз», который никто никогда не менял.

Внучок забегают в кабинку, дверь за ним закрывается с металлическим лязгом. Пауза. Тишина. Очередь замирает. И тут раздаётся оглушительный, басовитый, почти звериный:

БЛЮ-АА-АА-АА-АА-АА!

Глубокий, как из желудка мамонта, которого разбудили после ледникового периода и напоили кефиром. Кажется, зазвенели стёкла в ближайшем ЖЭКе.

Бабушка вздыхает, закрывает глаза и крестится. Не лицо, а воздух перед собой. Привычка.

Два странных мужика — в килте и пижаме — переглядываются. Пижамный одобрительно кивает, а килтовый произносит с уважением:

— Слушай, а парень перспективный. Наш человек.

— Наш, — соглашается пижамный. — Таких в секцию надо брать. Соревнования по дальности звука.

Билетёрша даже не поднимает глаз. Она уже слышала всё. Её ничем не удивить. Она переворачивает страницу романа и думает: «Героиня, конечно, дура. Но этот парень из кабинки — молодец. Тридцать рублей отработал на все сто». И приписывает мысленно в блокнотик: «Клиент № 7: перспективный. Взрослого тарифа достоин, но бабка сэкономила. Жалко».

СЛЕДОМ за сценой возле кабинки появляется ОПЕРАТОР местного телевидения. Он уже снимает всё подряд: то сцену с артистом (который сбился со счёта и машет руками как мельница, изображая, видимо, ветряную электростанцию), то синюю кабинку, то клиентов туалета. Крупный план: очередь, мятые купюры, внучок выходит из кабинки с блаженным лицом, каким улыбаются люди, только что вернувшиеся из космоса или избавленные от трёхдневного запора. Внук подходит к бабушке и торжественно сообщает:

— Бабуль... Там такое... Я больше никогда не буду есть.

— Не будешь, внучок, не будешь, — кивает бабушка, отводя глаза. — До следующего раза.

Катя (журналистка) старается говорить в камеру, но её то и дело перебивают звуки из кабинки. Она уже начала привыкать, но всё равно вздрагивает при каждом «БЛЮ-АА».

КАТЯ (в камеру, перекрывая очередной залп):

— Дорогие телезрители! Как мы видим, инфраструктура праздника работает в штатном режиме! Жители с удовольствием пользуются услугами...

(пауза, очередной звук: «ТРЫ-Ы-Ы-Щ!»)

...санитарно-техническими объектами. Это говорит о высоком уровне доверия к нашей администрации!

Оператор кашляет.

КАТЯ уже воодушевлённо, заглядывая в шпаргалку на ладони.

— А знаете, друзья, этот скромный ярко-синий домик — не просто место уединения! Это важный стратегический объект! По самым скромным подсчётам, за день он приносит в бюджет города до пятнадцати тысяч рублей. Это больше, чем штрафы за неправильную парковку! И

это не считая детских 30 рублей и скидок для студентов — тех, кто предъявит справку из деканата, подтверждающую, что он действительно учится, а не просто ходит в столовую.

Она переводит дух и продолжает, повышая голос:

— На эти деньги уже отремонтировали два люка на проспекте Мира и закупили новые таблички на остановки! Правда, таблички перепутали местами, но это не страшно — главное, процесс идёт! Платите, граждане, за туалет! Платите и будьте здоровы! Ваш рубль сегодня — это скамейка в парке завтра! Или хотя бы одна лампочка в подъезде после завтра.

Она поворачивается к кабинке и показывает на неё рукой, как ведущая на выставке достижений народного хозяйства:

— Вот он — настоящий локомотив нашей экономики! С вами была Екатерина, и я ещё не замужем. А бюджет города — уже чуть ближе к бездефицитному!

Оператор медленно опускает камеру, но Катя быстро поднимает её обратно и заговорщицки шепчет:

— (шёпотом) Может, тоже вложиться в бюджет города? Схожу, пока не подорожал...

Оператор вздыхает громче обычного. Он вздыхает так, что камера дёргается, а звук записывается с помехами. Билетёрша из-за книги кидает на Катю короткий взгляд, который означает: «Дорого, девушка, дорого. Для журналисток у нас отдельный тариф — сто рублей, потому что вы потом в репортаже всё равно соvrёте».

Но вслух она ничего не говорит. Только переворачивает страницу и бормочет себе под нос:

— Пятьдесят. Детский тридцать. Следующий. Любовь в контейнере. Тоже мне, контейнер. Вот у нас тут контейнер.

И очередь переминается дальше. Потому что праздник продолжается, и никто не уходит. Даже когда очень хочется уйти.

Федос уже не шёл — он перемещался, как сжатая пружина. Его тело приняло форму вопросительного знака, которому срочно нужна была точка. Он согнулся в три погибели, хотя все знают, что человеческий позвоночник рассчитан максимум на две. Лицо его приобрело цвет переспелой свёклы — такой багровый, что бабушка с внуком, случайно взглянув на него, перекрестилась и шепнула внуку:

— Смотри, Миша, вот что бывает, когда не слушаешься и пьёшь из горла.

Миша внучок хотел спросить: «А что, из горла нельзя?», но не успел — потому что Федос издал очередной звук, похожий на залп из гаубицы, но с более лирическим оттенком.

На лбу у Федоса выступили капли пота. Не простого, а холодного, как утренняя роса на могильной плите. Он дышал тяжело и шумно, как паровоз, который уже понял, что до конца рельсов не доедет, но решил всё равно дать жару.

Афоня решительным, почти строевым шагом направился к билетёрше. Та по-прежнему сидела, уткнувшись в роман «Любовь в контейнере», и, судя по движению губ, уже дошла до той сцены, где герой зачем-то прыгнул в мусорный бак, чтобы достать кольцо. Билетёрша одобрительно кивнула — видимо, считала, что любовь требует жертв, даже таких гигиенически сомнительных. Афоня встал прямо перед ней. Слегка наклонился, чтобы заглянуть в глаза. Билетёрша не подняла головы — она чувствовала ауру идиота за версту.

Афоня громко, бодро, с интонацией городского сумасшедшего.

—Здравствуйте, уважаемая! Умаялись небось! Как успехи на трудовом фронте?

Билетёрша медленно, очень медленно оторвала взгляд от страницы. Подняла голову. Посмотрела на Афоню так, как смотрят на пятно на скатерти: с лёгким отвращением и надеждой, что оно само сотрется.

Некоторое время она разглядывала его пальто, его синяки под глазами, его «я вчера не ложился», и наконец, её губы сжались в тонкую линию.

— Пятьдесят рублей, — отчеканила она голосом, который не терпел возражений. Это был голос человека, который пережил три экономических кризиса, две реформы образования и одну попытку установить в ЖЭКе самоуправление.

Афоня сделал вид, что не расслышал.

— Да нет, что вы! — воскликнул он с притворным изумлением, чуть отступив. — Я поссать не хочу! Я, знаете ли, искусствовед. Провожу мониторинг малых архитектурных форм вашего района.

Федос сзади, согнувшись и держась за жопу, делает страшные глаза и показывает жестами: «Давай быстрее!» — тыкал пальцем сначала на часы (которых у него не было). Потом на живот (который ему сейчас предстояло спасать). Потом на кабинку (которая, казалось, ухмылялась).

Федос был готов заплакать. Он ненавидел Афоню в этот момент. И одновременно боготворил. Потому что, кроме Афони, никто в этом мире не выдумал бы такой идиотский способ отвлечь билетёршу.

Билетёрша меж тем закрыла книгу. Закладкой служила сухая горбушка хлеба, которую она извлекла из кармана халата с грацией фокусника, достающего кролика, — только вместо кролика был хлеб, и он не сопротивлялся. Она положила книгу на стульчик, положила горбушку в книгу, и только после этого обратила свой сфинксовый взор на Афоню полностью — от макушки до берцев.

— Чё? — спросила она громко, так что несколько зрителей из очереди обернулись и захихикали. — Мониторинг? Мальчик, да я по глазам вижу: ты не только ссать — ты ещё и срать хочешь. И друг твой — тоже. У него же на лице написано «Обосрись через минуту. Просьба не дёргаться, ибо пострадают все».

Федос, стоявший сзади, изобразил лицо, которое могло бы украсить любую картинную галерею — «Крик» Мунка, только менее оптимистичный.

Афоня ничуть не смутился. Он даже улыбнулся. Улыбка у него была недобрая, с хитринкой, как у продавца подержанных автомобилей, который уже придумал, куда вкрутить лишнюю тысячу. Невозмутимо, включает «лютую дичь», и начинает говорить с лёгким прибалтийским акцентом.

— На самом деле я интересуюсь футурологией. Скажите, а правда, что ваш биотуалет — это портал в пятое измерение? Я вчера в один такой залез — а вышел сегодня на Комсомольской. А мне нужно было на Каширскую. Очень неудобно, знаете ли. Пришлось брать такси. А такси, между прочим, подорожало.

Билетёрша застыла с открытым ртом. В её голове начали перебираться варианты: «Пьяный? Наркоман? Прикалывается? Или просто идиот, каких в городе развелось?» Тридцать лет работы в ЖЭКе не подготовили её к диалогу о порталах в пятое измерение. Она встречала мужиков, которые пытались расплатиться талонами на молоко, и женщин, которые требовали скидку за то, что их ребёнок заплакал при виде кабинки, — но порталы... это было новое слово в городском безумии.

Федос тем временем, как вор, обученный годами лишений, на цыпочках, с согнутой спиной и лицом, застывшим в маске мученика, подкрался к кабинке. Дверь жалобно скрипнула, как будто её открывали в первый раз за последние три часа. Федос замер. Оглянулся на Афоню.

Тем временем на деревянной сцене, которая помнила ещё выступления самодеятельности времён застоя и чудом не развалилась под ногами тучного артиста, разворачивалась трагедия. Нет, не так. Трагифарс. С элементами моралите и закадровым смехом, который пока не раздался, но уже маячил где-то за кулисами.

АРТИСТ-ЗАВХОЗ (настоящее имя — Валентин, но на афишах значилось «Шарман Акультист-младший», хотя никакого отношения к Шарману он не имел, кроме вокального подражания и любви к кожезаменителю) только что эффектно закончил очередной куплет. Он

вскинул руку к небу — туда, где, по его замыслу, должны были парить если не ангелы, то хотя бы голуби. Голуби парить не собирались, они деловито выклёвывали крошки за сценой, но артист делал вид, что апогей творчества наступил.

И тут — колонки издали жалобный скрежет, как кот, которому наступили на хвост в темноте. Мелодия сбилась, заиграла на половинной скорости, превратив пафосные куплеты в траурный марш по несбывшимся надеждам. А потом и вовсе остановилась.

ЗВУК: БЗ-З-З-З... ВЖЖ-ВЖЖ... КЛАЦ.

Всё. Магнитофон зажевал плёнку. И, судя по запаху палёной пластмассы, сделал это с особым цинизмом.

Артист замер. Рука, вскинутая к небу, медленно опустилась. Глаза открылись. В них читалось всё: от непонимания до принятия неизбежного. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но колонки снова издали звук — на этот раз похожий на икоту пьяного удава.

В парке воцарилась тишина. Даже очередь в туалет затихла — люди боялись пропустить развязку. Кто-то из массовки (кажется, мужик в килте) кашлянул. Бабушка с внуком выронила зажигалку — на этот раз настоящую, но она упала в лужу и погасла. Внук посмотрел на бабушку, бабушка посмотрела на сцену.

— Доигрался, — сказала она с удовлетворением старого зрителя, который дождался, наконец, когда же клоун упадёт.

Артист действовал быстро. Быстро и решительно, как человек, который много раз ремонтировал краны на кухне и знал, что промедление смерти подобно. Он упал на корточки. Прямо посреди сцены.

ЗВУК: БАХ! — будто мешок с картошкой уронили с третьего этажа.

Это была его задняя часть. Та самая, которую штаны перестали скрывать.

КРУПНО: Задняя часть узких кожаных штанов артиста. Штаны, верой и правдой служившие три года, предательски натянулись, треснули по шву — и этот треск был слышен даже на задних рядах, где санитар в кустах схватился за сердце. Шов разошёлся, открыв взору публики то, что обычно скрыто от глаз не только профессиональной этикой, но и простым человеческим стыдом.

Голая, бледная, не знавшая загара ягодица выглянула на свет. Она была так неожиданна, так неуместна, что тётка «А я думала, это сова» наконец-то перевела взгляд с неба на сцену и произнесла сакраментальное:

— А я думала... это сова...

Но артист не замечал своего конфуза. Ему было не до этикета. Он наклонился, судорожно нажал кнопку «извлечь кассету». Магнитофон, который явно был старше самого артиста, не хотел её отдавать. Борьба длилась несколько секунд. Наконец, кассета с глухим щелчком выскочила наружу, описав дугу, и артист поймал её в воздухе, как вратарь — мяч.

Из кармана куртки (чёрной, кожаной, с флагом Зимбабве) он извлёк простой деревянный карандаш. Где он там лежал? Рядом с пачкой «Винстона»? Или с прошлогодней квитанцией за свет? Неважно. Карандаш появился. Артист вставил его в кассету, в маленькое колёсико, и начал НАМАТЫВАТЬ. Яростно, сосредоточенно, с лицом сапёра, у которого до взрыва осталось три секунды, а бомба — в его собственных руках.

Выпавшая из магнитофона чёрная плёнка медленно возвращалась на место. Вид у неё был жалкий — мятая, местами с заломами, но артист не сдавался.

Лоб артиста в испарине. Одна прядь светлых волос, уложенных причёской «Полубокс», упала на глаз. Губы плотно сжаты, глаза прищурены — он регулировал силу натяжения, как ювелир, работающий с тончайшей нитью.

В парке замерли все. Даже очередь в туалет прекратила переминаясь. Чувак «Пепе, шнейне, фа, ватафа» сделал шаг вперёд — медленно, торжественно, как жрец, приближаю-

щийся к алтарю. Он посмотрел на артиста, на кассету, на карандаш — и прошептал почти-тельно, будто читал молитву:

— Пепе... шнейне... фа... ватафа...

Никто не понял, что он имел в виду. Возможно, это был код доступа к инопланетному разуму. Возможно, просто бред. Но тон был правильный.

Оператор местного телевидения, который давно уже устал от этого праздника, вдруг ожил. Он медленно, с чувством, перевёл камеру с треснувших штанов артиста на его руки. Потом — на карандаш. Потом — на его сосредоточенное, почти иконописное лицо. Он задержал крупный план на секунду, другую — давая зрителю возможность прочувствовать трагедию творца.

И только потом, набрав в грудь воздуха, поднял камеру выше — и дал КРУПНО КАТЮ.

Катя смотрела на артиста. На кассету. На зрителей, которые замерли в ожидании. И в её глазах загорелось то самое выражение, которое оператор называл «режим берсерк» — смесь энтузиазма, непонимания происходящего и абсолютной уверенности в том, что она говорит правильные вещи.

— Вот видите, дорогие друзья! — провозгласила она в микрофон так пафосно, что даже голуби на арке вздрогнули. — Что значит — заслуженный профессионал своего дела! Человеческий оркестр! Он не только швец, не только жнец — и не только на дуде, между прочим, игрец!

Она сделала паузу, давая зрителям осмыслить глубину её слов. Оператор подумал: «Ты бы помолчала, он штаны порвал». Но не сказал.

— Он сам себе и звукорежиссёр, и программист, и немного волшебник! — продолжала Катя, воодушевляясь всё больше. — Смотрите, как ловко он управляется с этой кассетой! Любой диджей в ночном клубе обзавидуется!

Она перевела дух и добавила уже тише, но не выключая микрофон:

— Говорят, он даже ноты знает. Ну, некоторые. Те, которые не забыл. А если забыл — он их заново придумывает, прямо на ходу! Вот что значит — творческая смелость! Не каждому дано!

Оператор подал знак. Катя не поняла. Тогда он шепнул, прикрыв микрофон рукой:

— Он штаны порвал. У него жопа видна.

Катя, которая услышала это ровно настолько, насколько хотела услышать, отмахнулась. И продолжала вещать с прежним напором:

— А штаны — это вообще признак свободы! Настоящий артист не должен быть скован условностями! Тем более... в таком творческом порыве. Пусть дышит!

Она показала рукой на треснувший шов, как экскурсовод на достопримечательность.

— Как говорится, в тесноте, да не в обиде! В общем, аплодисменты нашему герою!

Катя первой начала хлопать. Зрители — нестройно, но с чувством — поддержали. Два мужика в килте и пижаме свистнули (один свистел, второй просто раскрыл рот и дул, но звука не было). Собачка гавкнула — один раз, коротко, как выстрел. Аншлаг в туалете пока не тронулся — там была своя драма.

А артист, наконец, справился с плёнкой. Вставил кассету обратно в магнитофон. Нажал «play». Магнитофон издал победный писк и продолжил крутить ленту.

ЗВУК: «Звуки музыки, зарубежной эстрады, дружественных стран»

Артист выпрямился, закрыл глаза и запел дальше — как ни в чём не бывало. С голой жопой, с пятном от борща на майке, с флагом Зимбабве на рукаве. Он был счастлив. Он был артист. А зритель... зритель хлопал.

Катя устало кивнула оператору. Тот опустил камеру. Она вытерла пот со лба тыльной стороной ладони, поправила выбившуюся прядь и прошептала — по привычке, прямо в микрофон, который, конечно же, не выключила:

— Ну что, сняли? Теперь дайте мне воды. У меня там... пересохло.

Оператор вздохнул. Это был самый долгий вздох в его жизни — и самый молчаливый.

Он уже знал, что после такого эфира их канал «Домашний-2» заметят. Возможно, даже закроют. Но заметят — это точно.

Афоня не унимался и продолжал гипнотизировать билетёршу.

— А у вас химический сорбент или обычный? — продолжал Афоня, воодушевляясь всё больше. Он уже вошёл в роль. Он был странствующим философом, который проверяет общественные туалеты на проходимость и проницаемость. — Потому что если химический — у меня есть встречное предложение. Я вам — пол-литра кефира и пачку сигарет. Кефир свежий. Ну, почти. А вы мне — ключ на полчаса. Идёт? С меня — песня!

И Афоня, не дожидаясь ответа, манерно вскинул руку, словно дирижёр, и затянул чистым русским тенором:

— «Во поле береза стояла, Во поле кудрявая стояла. Люли-люли, стояла. Люли-люли, стояла.»

Голос его разносился по парку, перекрывая и колонки, и пердеж из кабинки, и даже икоту санитара, который пытался нажать на кнопку «play». Тётки из мема от неожиданности выронила пакет из «Шестёрочки». Чувак «Пепе, шнейне, фа, ватафа» остановил своё заклинание и раскрыл рот — видимо, инопланетный разум переключился на другой канал.

Билетёрша медленно поднялась. Очень медленно. Как восходит солнце над прокуренным горизонтом. Ростом она оказалась выше Афони на полголовы и шире — на добрых два корпуса. Её тень легла на Афонию, как крыло ночной бабочки, только тяжёлое, грозное.

— Сынок, — сказала она тоном, от которого у сотрудников ЖЭКа подгибались колени. — Ты бы к психиатру сходил. У нас в районе хороший, он бесплатно консультирует. Ну, почти бесплатно. По полису.

— А что, — не растерялся Афоня, — он тоже коллекционирует рассказы о порталах?

— Он коллекционирует галлюцинации, — отрезала билетёрша. — И, судя по тебе, у него скоро будет полная коллекция.

Она перевела взгляд с Афони на кабинку — и замерла.

Потому что дверь кабинки была приоткрыта.

А внутри кто-то был.

И этот кто-то, судя по доносившимся звукам (звук рвущегося линолеума, а затем мощное «ДРУА-А-А-А-А!»), явно не собирался платить.

Билетёрша побагровела. Её лицо, и без того не ангельское, приобрело оттенок спелого помидора. Жилы на шее вздулись. Она медленно повернулась к Афоне.

— А кто это, — спросила она таким тоном, что голуби разом взлетели с арки, — у меня в кабинке без билета?!

Афоня развёл руками, как фокусник, который только что показал трюк с исчезновением платка.

— О, — сказал он с восторгом. — Это чудо! Сортир выходит с нами на связь! Чикаго, это Хьюстон! Слышу вас чётко! Продолжайте, приём!

Билетёрша перевела взгляд с Афони на дверь. С двери на Афонию. На её лице боролись два чувства: профессиональное любопытство («Как этот хмырь умудрился?») и многолетняя злость на всё живое.

— Ах ты мразь... — выдохнула она, и это было уже не слово, а боевой клич. — Решил со своим корешем бесплатно посрать?!

Она сделала шаг вперёд.

Афоня сделал шаг назад.

Федос внутри кабинки, услышав, что его раскрыли, издал звук, похожий на смесь всхлипа. Но было уже поздно.

Глаза её налились кровью.

— Ты... — сказала она, и в этом одном слове было столько ярости, сколько не смог бы вместить ни один ядерный реактор. — Убью.

Афоня, не будь дурак, поднял руки:

— Мадам, я всё объясню!

Но билетёрша уже не слушала.

Она сделала второй шаг, и Афоня понял, что уличная магия сегодня дала сбой. Глобальный сбой. С таким же успехом можно было пытаться загипнотизировать взбесившегося быка.

Билетёрша, разъярённая и красная как помидор (судя по всему, это был её боевой окрас), схватила Афонию за волосы. Вторая её рука — сжатую в кулак — она уже занесла для фирменного апперкота, которым в молодости отправляла в нокаут грузчиков из соседнего склада.

— Да я и за меньшее убивала! — рывкнула билетёрша, брызгая слюной прямо в лицо незадачливому «клиенту», которого она приняла за обычного засранца. — Ты вообще знаешь, с кем связался?!

Афоня, который был уверен, что его главное оружие — обаяние, с ужасом осознал, что сегодня это оружие дало сбой. Он попытался вырваться, но билетёрша держала его как удав — намертво, с профессиональной хваткой, отточенной годами тренировок в подвале ЖЭКа.

— Я по молодости в колхозе кабанов забивала! — продолжала билетёрша, и в её голосе звучала не просто угроза, а воспоминание о славных боях. — А потом — шла на ковёр! В зал! Где настоящие мужики лампочки не выкручивают, а друг другу рёбра считают!

Она не договорила: Афоня, который никогда не отличался выдающимися боевыми навыками, применил единственный приём, который знал со времён службы в армии — «упал-отжался-вскочил». Он резко присел, вывернулся, сделал корявое сальто, задел ногой урну, — и чудом оказался на ногах.

Но билетёрша уже стояла рядом.

— Ты чего, милоч? — спросила она с издевкой, поправляя сбившуюся красную шапку. — Прыгать решил? Я сама в молодости так прыгала. Пока меня за нос не взяли...

Афоня, задыхаясь, попытался призвать на помощь высшие силы.

— Мадам! — заорал он. — Во имя искусства! Я — комик! Я не клиент! У меня нет с собой пятидесяти рублей!

— Ах, ты ещё и гномик! — билетёрша даже остановилась на секунду, чтобы осмыслить эту новость. — Ну, тем более. Я этих гномиков знаю. Вы все — засранцы.

Афоня хотел возразить, но билетёрша уже взяла его за грудки. Схватка разгоралась с новой силой. Она схватила его за воротник пальто и принялась методично, с чувством и расстановкой, бить его головой о дверцу кабинки.

ЗВУК: БАМ! БАМ! БАМ!

— Это за то, что у меня целый день клиенты один дурнее другого! А это — за того парня, который пытался расплатиться скидочной картой «Шестёрочки»!

Афоня, который уже начал терять счет ударам, но не терял надежды, изловчился и ухватился за шапку. Началась борьба, в которой билетёрша, как бывший боец ММА, имела явное преимущество, но Афоня, как обычный сантехник, обладал нечеловеческой изворотливостью.

Они кружили, сопели, матюгались.

И вот кульминация. Шапка слетела. Парик — роскошный, рыжий, с кудряшками — остался в руке у Афони. Билетёрша замерла.

Наступила такая тишина, что было слышно, как муха, пролетая мимо, прошептала: «Я пас».

Лысая голова билетёрши сияла на солнце, как полированный снаряд.

— Ты... — начала она голосом, от которого у бывших соперников по ММА подкашивались колени. — Ты снял с меня парик? Который мне мама в восьмидесятом году из самой ГДР привезла?

В её глазах горел огонь. Не тот, что в печи. Тот, что зажигается перед финальным раундом, когда судьи уже боятся поднимать таблички.

— Ну всё, — сказала билетёрша, хрустнув шеей. — Ты покойник.

Она наклонилась — не как грузная старуха, а как настоящий боец, готовящийся к решающему броску. И таранила его головой под дых. Афоня согнулся пополам, выронил парик, и билетёрша с победным воплем подхватила его.

Но Афоня, будучи сантехником, умел не только трубы прокладывать, но и из любых передрыг выходить сухим. Ну или почти сухим.

— Сдаюсь! — заорал он. — Сдаюсь! Победили! Забирайте всё; деньги, одежду и даже мотоцикл.

Билетёрша, однако, не собиралась останавливаться. Она подняла Афонию за шкурку, раскрутила над головой и швырнула прямо в очередь.

Оператор, который до этого добросовестно снимал артиста, его штаны, его кассету и его карандаш, вдруг понял: всё это была разминка. Главное событие сегодняшнего эфира происходит здесь и сейчас, на расстоянии вытянутой руки.

Он резко развернул камеру. Его глаза, до этого тусклые, как у человека, который видел уже всё и даже больше, теперь расширились от восторга — такого чистого, такого первобытного, какое бывает только у детей на новогодней ёлке или у репортёров, внезапно наткнувшихся на сенсацию.

— О как завернули! — бормотал он, не отрываясь от видеоискателя, и камера мелко дрожала от его волнения. — Ох, ёлки-иголки! Вот это да! Это ж хит! Теперь на НТВ возьмут. Точно возьмут! Прямой эфир, драка из-за сортира — эксклюзив! Второй канал удавится от зависти!

Он уже мысленно получал премию, переезжал в новую квартиру и подписывал контракт с федеральным каналом. В душе он был счастлив. На лице — сосредоточен.

Катя стояла рядом, широко раскрыв глаза. Микрофон в её руке опустился так низко, что почти касался земли. Она не могла вымолвить ни слова. Это было выше её сил. Она просто смотрела, как какого-то мужика в чёрном пальто лупят головой о кабинку, а лысая билетёрша (она внезапно стала лысой — это была отдельная драма, которую Катя упустила) наносит удары с профессиональной жестокостью, достойной Олимпийских игр.

— Ужас, — прошептала Катя. — Да она его убьёт...

— Не убьёт, — так же шёпотом ответил оператор, продолжая снимать. — Это ж эксклюзив. Убивать будут после рекламы.

Тем временем толпа поклонников артиста-завхоза — все семь человек, которые ещё недавно раскачивались вразнобой со своими зажигалками — перестроились. Они уже не качались. Они полукругом встали вокруг дерущихся, образовав нечто среднее между рингом и театральной сценой. Зажигалки по-прежнему горели — кто-то настоящие, кто-то пластилиновые, но общий настрой был боевым.

Люди галдели, как на скачках:

— Давай, бабка, вдарь ему! — завопила бабушка с внуком, размахивая зажигалкой так, что та чуть не оторвалась от пальцев. — За поясницу его возьми! У него там слабое место, я по глазам вижу!

Внук, стоявший рядом с ней и наконец-то забросивший попытки зажечь пластилиновую зажигалку, надул губы и тонким, но твёрдым голосом возразил:

— А я за дядю в пальто! Он смешной!

— Не рассуждай, — одёрнула его бабушка. — Ты ещё маленький, чтобы выбирать, за кого болеть. Вот вырастешь — тогда и выбирай.

Два мужика — в килте и пижаме — не просто болели. Они начали делать ставки.

— Ставлю пятьдесят рублей на бабу, — заявил тот, что в килте, вытаскивая из кармана мятые купюры.

— А я — сто на мужика в пальто! — ответил пижамный. — У него глаз хитрый. Такие просто так не сдаются.

— Ты посмотри на его стойку, — хмыкнул килтовый. — Это ж не боец, это... как его... айтишник. Он даже кулак сжать не умеет.

— Зато он ловкий! Видел, как увернулся? — возразил пижамный.

Они пожали друг другу руки и усталились на ринг.

Тётка из мема «А я думала, это сова» внезапно вышла из ступора. Она подняла вверх пакет из «Шестёрочки» — тот самый, с полбатонам и скисшим кефиром — и радостно, во весь голос, выкрикнула:

— А Я ДУМАЛА, ЭТО СОВА!!!

Пакет взметнулся в воздух, как знамя. Полбатона выпало, покатилося по асфальту и оставилось у ног чувака «Пепе, шнейне, фа, ватафа».

Тот, недолго думая, подхватил его и, уже не отвлекаясь на драку, принялся нарезать на мелкие кусочки (прямо в воздухе, воображаемым ножом), продолжая выкрикивать своё заклинание, но теперь — в такт собственным движениям:

— Пе-пе, шней-не, фа, ва-та-та-та! У-у-у-у! Не-но-шу-ган-доны в сумке. Сигнал, космический сигнал, ва-та-фа!

Дедушка с бешеной собакой не болел. Вообще никак. Он просто сидел на корточках, привязанный к поводку (верёвка уже успела опутать его ноги, но он не замечал), и уныло смотрел на небо. Собачка, напротив, проявляла чудеса активности: она гавкала и лаяла на всех подряд — на Афоню, на билетёршу, на внука, на собственный хвост. Прямо по кругу.

— А мне плевать! — махнул рукой дедушка, когда бабушка попыталась вовлечь его в дискуссию. — Я вообще за тортом пришёл. А не за этим... за этим...

Он не договорил. Собачка дёрнула поводок, и дедушка переместился на полметра вправо.

На импровизированном ринге между тем царил хаос.

Афоня уже не бьётся — он выживает. Он отбивается, уворачивается, пытается уйти в глухую защиту, но билетёрша не уступает. Она не просто бьёт — она танцует боевой танец своих предков. Её движения отточены, удары точны, захваты смертельны. Она явно тренировалась не в благотворительной организации — это были старые добрые школы, где отработка ударов мешком с песком занимала больше времени, чем обеденный перерыв.

Афоня, понимая, что чистая сила здесь не поможет, попытался было улизнуть. Но билетёрша, предвидевшая этот манёвр, применила классический захват — «метелица», как называют его в народе, а профессионалы — «удавка для непослушных клиентов». Она раскрутила Афоню за шкирку, как юлу, затем бросила на землю и прыгнула сверху, намереваясь припечатать его своим весом — завидным и хорошо сбалансированным.

— Тётя! — донёсся из-под неё глухой, приглушённый голос Афони. — Меня нельзя убивать! Я свидетель по делу! У меня явка с повинной!

— А я сама — свидетель! — рявкнула билетёрша, не снижая давления. — Свидетель того, как ты мой парик украл! Это разбой! Статья сто шестьдесят первая!

— Это сувенир! — заорал Афоня, пытаясь вылезти. — Я коллекционер!

Билетёрша не ответила. Она просто усилила хватку.

Но Афоня — а он был парнем не промах — сумел-таки выскользнуть из захвата. Нет, не силой — хитростью. Он почесал билетёршу в подмышке, та машинально ослабила хватку, и он, как ящерица, отбросившая хвост риска, вылетел из опасной зоны.

Хромая, утирая разбитую губу, с париком в одной руке и с чувством выполненного долга в другой, он принял стойку «пьяный журавль». Стойка была позаимствована из китайских

боевиков, которые он смотрел по ночам, когда не спалось. Получалось не очень: журавль был явно нетрезв, а ноги его не слушались.

Катя наконец опомнилась.

Она подняла микрофон, отряхнула его от мусора и с совершенно серьёзным лицом, глядя прямо в камеру, начала вещать. Её голос перекрывал шум драки, крики толпы и даже лай бешеной собаки.

— Ну не каждый день у кота масленица! — провозгласила она громко, придавая каждому слову вес. — Вот видите, дорогие зрители, как фанаты бьются за право первым получить автограф нашего заслуженного, известного исполнителя! Да, настоящая борьба! Можно сказать, эпохальная битва за культурное наследие!

Она сделала паузу, давая зрителям осознать глубину её мысли.

— Тем более, билетёрша — давняя поклонница его творчества! Она даже парик надела, чтобы быть похожей на приму из оперы! Правда, в процессе борьбы парик, увы, пострадал... Но это же знак истинной преданности! Готова на всё ради кумира!

Оператор, снимая этот монолог, едва сдерживал смех.

— Так что это не драка, — продолжала Катя, входя во вкус, — это... это перформанс! Элемент шоу! Нечто, что украсит любой выпуск новостей и, возможно, даже попадёт в рубрику «И это всё о нас»!

Она договорила, гордо поправила выбившуюся прядь и подмигнула оператору.

Билетёрша, всё это слыша, ещё больше разозлилась. Она посмотрела на Афоню, который стоял в стойке «журавль», на свою лысую голову, которая отражала лучи солнца, и приняла окончательное решение.

— Сейчас ты у меня полетаешь, — прорычала она.

И разбежалась. Как таран. Как локомотив. Как женщина, которой больше нечего терять — кроме парика, который уже потерян. Она мчалась на Афоню, который застыл возле кабинки. Земля под её ногами вздрагивала.

В последний миг — когда билетёрша была уже в полуметре — Афоня сделал резкий шаг в сторону. В сторону! Не назад, не вперёд, а именно вбок — как учил его дед Матвей на рыбалке, когда убегал от разъярённого быка.

Билетёрша, не успев затормозить, влетела плечом в кабинку.

ЗВУК: Железный хруст, стон конструкции — металл жалобно застонал, но устоял. Кабинка покачнулась.

— Промахнулась! — заорал Афоня, подпрыгивая.

— Повторим! — рявкнула билетёрша.

Она отошла на несколько шагов, развернулась — и снова влетела в кабинку. На этот раз сильнее. Кабинка наклонилась. Дверца отлетела в сторону.

— Ещё!

Третий заход — и она буквально впечаталась в дверь, оставляя вмятину в форме своего мощного кулака. Кабинка отъехала на полметра, жалобно скрипя, как телега с несмазанными колёсами.

— Я сейчас тебя убью! — пообещала билетёрша, но уже не Афоне, а самой конструкции.

Она не останавливалась. Она начала ломиться в кабинку ногами, кулаками — так, что та отъезжала всё дальше и дальше.

И, не выдержав натиска, кабинка сдалась.

Она упала на бок с грохотом, достойным крушения старого мира.

ЗВУК: БА-БА-БАХ! Железо, лязг, звон разбитой пластмассы.

Кабинка лежала на боку, как подбитый мамонт, и из её недр доносились звуки, не поддающиеся описанию. Там, внутри, среди ошмётков бумаги, неопознанных жидкостей и потерянных надежд, пытался выбраться Федос.

— А-а-а-а! — донеслось изнутри. — Да что ж вы делаете?! Я здесь!

Оператор, который не упускал ни одной детали, крупно снял разбитую кабинку. А потом — Федоса.

— О, вот оно! — заорал оператор, продолжая снимать. — Вот оно, мясо! Приехали! НТВ, держитесь!

Позор внутри кабинки. Сначала Федос подумал, что это землетрясение. Или что артист на сцене так разошёлся, что сотрясает фундамент. Но потом кабинка накренилась. Сначала влево. Потом — резко, без предупреждения — вправо. И вслед за этим раздался звук, который Федос слышал только раз в жизни: когда его шкаф с посудой рухнул на соседей снизу.

БА-БАХ!

Кабинка упала.

Федос полетел. Он не понял, куда, зачем и почему. Он просто ощутил, что его тело, его унитаз и всё, что там скопилось за неделю безжалостной эксплуатации, смешалось в едином порыве — как коктейль в шейкере у бармена-садиста.

Он ударился головой о дверь. Плечом — о стену. Спина — о потолок, который вдруг стал полом. И в этот момент на него обрушилось главное.

Содержимое. Федос не знал, сколько людей пользовалось этой кабинкой за последние семь дней. Он не хотел знать. Он даже боялся представить. Но теперь вся эта многодневная, многострадальная, многолитровая история человеческих страданий обрушилась на него, как мешок с цементом, только жидкий и тёплый. Тёплый. Федос открыл рот, чтобы закричать, но вместо крика в него затекла Жижа. Не просто жижа. Нет. Это был концентрированный экстракт микрорайона. В этом тёмно-коричневом потоке растворились чьи-то борщи, чьи-то пельмени, чьи-то горести и беды.

«Я тону, — подумал Федос, пытаясь вынырнуть из этой субстанции, но поняв, что некуда. — Я тону в том, что даже рыбы не решились бы назвать водой. Я тону во всём, что я презирал, но уважал чужой организм». Он нащупал ногами дно. Вернее, стену. Кабинка лежала на боку, и весь её объём превратился в ванну. Только вместо воды — ад.

Федос захлёбывался. Он ловил ртом воздух, но ловил только новые порции того, чему не место в лёгких. Глаза жгло. Нос забило. Волосы слиплись в единый, монолитный, архитектурный ансамбль.

«Это моя смерть, — осознал он с неожиданной ясностью. — Некрасивая, негероическая, не в бою за родину. А в платном биотуалете, который решил, что я — его последняя капля. Буквально».

Он попытался приподняться, уперевшись руками в потолок. Руки скользили. Всё скользило. Мир вокруг превратился в один сплошной, неопрятный, бурлящий кошмар.

«Что я оставлю людям? — подумал Федос, когда очередная волна накрыла его с головой. — Велюровые штаны? Они уже безвозвратно испорчены. Ботинки «Прощай молодость»? Они, кажется, даже рады такой участи — наконец-то они в своей стихии. Кота Ваську? Васька сам себе пропитание найдёт. Он в прошлом году мышей ловил таких, что соседи завидовали. А больше у меня ничего нет. Ни детей, ни дачи, ни даже зачатки под матрасом — всё пропили с Афоней в прошлую среду. Как же так? Я жил, копил, терпел — и ради чего? Чтобы утонуть в общественном говне?».

Он снова попытался вынырнуть. На этот раз ему почти удалось. Он высунул голову над поверхностью, как пловец в шторм, вдохнул и вдруг понял, что вдохнул снова не то. Запах был такой, что у Федоса заслезилась глаза — причём слёзы были на удивление чистыми, единственное чистое, что осталось в этой зоне бедствия.

«Как достать это из горла? — забила паническая мысль. — Рвотой? Но чтобы вырвать, нужно сначала вдохнуть, а я в этом дерьме уже надышался. Это замкнутый круг. Замкнутый

круг унитаза. Афоня, наверное, стоял бы и ржал, как конь, и приговаривал: «Я же говорил — пенициллин». Чёртов пенициллин. Витамины, мать их».

И вдруг Федос успокоился.

Это было странное, почти мистическое спокойствие. Он лежал в луже, которая по объёму и консистенции напоминала небольшое озеро в районе химического комбината, и думал: «А ведь Афоня прав. Всё в этом мире — яд и всё — лекарство. Просто дозировка. Вот, например, я сейчас плаваю в том, что неделю назад было борщом, котлетами и, возможно, фуагра и фрикасе. Значит, это те же витамины. Только слегка вонючие. И в другой фазе агрегатного состояния».

Он отхаркнулся. И выплюнул нечто, что, вероятно, раньше было частью чьего-то обеда.

— Витамины, — прохрипел он сам себе. — Просто витамины. Вонючие. Тёплые. Но витамины.

Он закрыл глаза. И решил, что если не выживет, то хотя бы умрёт с чувством собственного достоинства. Ну, или с его подобием.

Снаружи доносились голоса. Кто-то кричал. Кто-то смеялся. Билетёрша, кажется, ругалась так, что у неё козырёк отвалился. Катя орала в камеру: «У нас чрезвычайное происшествие! Туалет упал! Повторяю, туалет упал! Человек внутри!». А артист на сцене, ни на секунду не прекращая, пел: «Не сыпь мне перхоть на брюки...»

Федос подумал: «Хорошо, что у меня нет детей. Им не придётся краснеть за отца, который утонул в говне. Хотя, если честно, что может быть позорнее? Разве что утонуть в сортире вместе с детьми». Он попытался пошевелить рукой, чтобы отгрести от себя лишнее, но лишнее было везде. И тогда Федос сделал единственное, что пришло ему в голову: он лёг на спину — на ту стену, которая теперь была дном, — и начал смотреть на потолок, который теперь был небом.

На потолке была трещина. Сквозь неё пробивался лучик света.

— Значит, не всё потеряно, — прошептал Федос, и очередная волна накрыла его лицо. Он отплёвывался, давился, но почему-то улыбался. — Не всё потеряно. Просто всё оказалось в одном месте. И я тоже. «Хоть Афоне расскажу, каково это — быть внутри витаминов. Он оценит. И, может, прослезится. Или засмеётся. Скорее засмеётся. Но это тоже своего рода уважение».

Бой закончился. Не потому, что кто-то победил, а потому, что у кабинки кончились терпение и болты одновременно.

Кабинка лежала на боку, и из её недр доносились сдавленные стоны, плеск и тяжёлые вздохи — будто там, внутри, доживал свой век небольшой, но очень настырный водопад. Из образовавшейся щели вытекала лужа, которая росла прямо на глазах, стремительно захватывая территорию.

ЗВУК: Сирена полицейской машины — где-то совсем близко. Она то приближалась, то удалялась, как будто водитель никак не мог выбрать, куда ему ехать: то ли на этот абсурд, то ли объехать его по объездной, подальше от греха.

Билетёрша, лысая, с перекошенным лицом, в котором боролись злость и облегчение (злость побеждала с большим отрывом), стояла над поверженным Афоней. Она дышала как паровоз, перешедший на красную линию. Грудь её вздымалась, плечи ходили ходуном, а кулаки до сих пор были сжаты.

Афоня лежал на асфальте, раскинув руки в стороны, будто пытался изобразить снежного ангела в самом неподходящем для этого месте. Из носа у него текла кровь, смешиваясь с пылью и семечками, и на лице застыло выражение человека, который только что понял, что жизнь — это боль, но боль эта почему-то смешная.

Билетёрша перевела дух. Казалось, её могучее тело требовало кислорода в промышленных масштабах.

— Всё, козлина, — прохрипела она, утирая рот рукавом халата. — Доигрался. Сейчас мусора приедут — и пойдёшь по этапу. На нары. Там тебе покажут порталы в пятое измерение. Прямо в общую камеру.

— Мадам... — донёсся снизу слабый, почти философский голос Афони. — Вы бы... шапку надели... На дворе осень... Простудитесь... А ваша лысина такая... красивая... Не надо её холодом мучить.

Билетёрша осеклась.

— Ах ты!..

Она занесла кулак для последнего удара — самого сокрушительного, самого памятного. В её глазах читалось: «Живи теперь с этим, козлина!». Но в этот момент из опрокинутой кабинки, словно извержение вулкана, который долго копило энергию и наконец решило, что пора, появился ФЕДОС.

Он не вылез — он вырвался. Из недр синей кабинки, из тьмы и сырости, из того места, куда отправлялось всё переваренное, содержимое желудков, появился он. Федос.

Он был покрыт ГЛАЗУРЫЮ. Густой, тёмно-коричневой, пахучей. С ног до головы. С головы до ног. Его болотный плащ, и без того не первой свежести, теперь обрёл текстуру и аромат, которые невозможно было описать словами — только междометиями.

Даже берет — тот самый, старомодный, с дыркой для дужки — и тот был пропитан насквозь. Очки... очки исчезли. Они остались внутри, клокочущей зловонной жижи. Поглощённые недрами биотуалетной бездны. Федос теперь был не просто близорук — он был философски слеп, и это, возможно, было к лучшему.

Он моргал, пытался открыть глаза, но веки слипались, как будто кто-то намазал их клеем БФ. Он делал шаг — и оставлял на асфальте тёмный, липкий след, похожий на след метеорита, только без космической романтики.

— Афоня? — хрипло позвал он голосом человека, который только что пережил катарсис и не понял, хорошо это или плохо.

Он не видел Афоню. Он вообще ничего не видел. Но инстинкт — тот самый, древний, рептильный, который остался у человечества со времён, когда люди жили в пещерах и боялись огня — вёл его ПРЯМО НА КАТЮ. Потому что Катя была самым ярким пятном в этом сером, осеннем мире. Белые кроссовки, красная юбка, белая блузка — как маяк. Как ориентир. Как мишень.

Катя стояла с микрофоном, раскрыв рот, и пыталась осмыслить происходящее. Она не успела. Не успела ни убежать, ни закричать, ни перекреститься. Она просто замерла, как кролик перед удавом.

Оператор, который за всё это время даже глазом не моргнул, продолжал снимать. Камера его мелко дрожала — то ли от холода, то ли от восторга.

— Драка! — бормотал он, наезжая объективом то на билетёршу, то на Афоню, то на вылезающего Федоса. — Сортир! Это ж не Пулитцеровская премия — это Нобелевка! Мне теперь памятник поставят!

Он уже решил, что назовёт свой фильм «Крах Синей Кабинки, или как я перестал бояться и полюбил осень». Оскар был уже в кармане.

Федос не бежал. Он двигался вперёд, как танк. Медленно, неумолимо, сокрушая всё на своём пути своей коричневой мощью. Он разбрызгивал фекальные ошметки в разные стороны, и те, как грязные снежинки, оседали на одежду зрителей, на асфальт, на арку с надписью «С днём работников леса!».

Наконец, он достиг цели. Федос споткнулся о собственные ноги (а в свои войлочные ботинки «Прощай молодость» можно было споткнуться даже на ровном месте) и рухнул прямо на Катю.

ЗВУК: ШЛЁП!

Это был звук, который не забудет ни один присутствующий. Так может шлёпнуть только мокрое, тяжёлое тело о бедную женщину в белой блузке, которая мечтала о замужестве, а получила это.

Катя и Федос лежали на земле, переплетаясь в странном, нелепом танце. Катя — вся в говне. Блузка, юбка, лицо, волосы, даже кроссовки — всё. Её белые кроссовки, которые она купила вчера в на рынке со скидкой 70%, теперь украшал эксклюзивный принт в стиле «кантри».

Пауза.

Катя открыла рот. Закрыла. Потом открыла снова. На её лице читалась вся история человечества: от сотворения мира до финальных титров. И затем — она закричала.

— Ты-ы-ы!!! — вырвалось у неё с такой силой, что чувак «Пепе, шнейне, фа, ватафа» на мгновение пришёл в себя.

Недолго думая, она вцепилась зубами в ухо Федосу. Вцепилась так, будто от этого зависела её дальнейшая карьера на телевидении.

— А-а-а-а! — взвизгнул Федос, дёргаясь и пытаясь отползти. — Откусишь же!

Катя разжала челюсти. От ранки на ухе Федоса пошла кровь, смешиваясь с коричневой глазурью, создавая новый, доселе неизвестный науке оттенок.

Федос вскочил. Он был зол, напуган и мокр. На его ухе красовался отпечаток зубов — аккуратный, почти ювелирный.

Федос развернулся и побежал. Мимо очереди, которая рассосалась сама собой — никто не хотел стоять и ждать, когда восстановят санитарную зону. Мимо массовки, которая уже не походила на группу поддержки, а на группу эвакуации. Мимо артиста на сцене, который, наконец, справился с кассетой и теперь снова пел «Вихри враждебные веют над нами. Темные силы нас злобно гнетут», даже не подозревая, что его концерт вошёл в историю.

И он бежал. Его плащ развевался, как знамя погибшего батальона. Коричневые следы тянулись за ним шлейфом, как хвост кометы. Белая блузка Кати стала коричневой, красная юбка — уже не красная. Кроссовки — уже не белые. Мир стал другим.

Катя сидела и смотрела вслед удаляющемуся Федосу. Потом перевела взгляд на микрофон — он тоже был коричневым.

Катя сидела на асфальте. Вокруг неё — лужа, которая росла с каждой секундой, и она была частью этой лужи. Белая блузка, которую она гладила с утра и даже побрызгала дешёвым освежителем воздуха («Морской бриз».

Она попыталась улыбнуться. Получилось криво — уголки губ поехали вверх, но глаза остались стеклянными.

— Как видите... — начала она, и голос её дрогнул. — Наш репортаж... окунулся в гущу событий... Буквально.

Она посмотрела на микрофон. Когда-то он был чёрным. Теперь он был украшен коричневыми разводами, и на его сетке что-то подозрительно налипло. Она перевела взгляд на себя — блузка, юбка, руки, волосы — всё было одного цвета. Это был цвет «осенняя безнадёга».

Она вдруг представила, как сейчас выглядит со стороны. Женщина тридцати пяти лет, не замужем, без перспектив, в обновках — и вся в дерьме. В буквальном смысле.

— Мама... — прошептала Катя, и её голос разрывался между истерикой и смехом. — Меня уволят. Я никогда не выйду замуж. Я даже кошку не заведу.

Она представила, как идёт домой, в свой съёмный угол на окраине. Лифт не работает, придётся подниматься пешком. Соседи будут выглядывать в дверные глазки и смеяться.

— М-а-а-а-а-ма-а-а! — завывала Катя, хватаясь за голову свободной рукой.

Микрофон при этом уткнулся куда-то в плечо, и звук получился с помехами.

Она плакала беззвучно. Слезы текли по её испачканным щекам, оставляя светлые дорожки — как молнии на грязном небе. Лицо её исказилось, губы задрожали, плечи затряс-

лись. Она не могла остановиться. Это был не просто плач — это была капитуляция. Конец карьеры, конец надеждам на замужество, конец годам, потраченным на бесполезные попытки казаться успешной и счастливой.

Прошла минута. Или две. Или час — время потеряло смысл.

Вдруг Катя замерла.

Слёзы перестали течь. Лицо её расслабилось. А потом, медленно, очень медленно, на губах начала появляться улыбка. Это была не та улыбка, которую она выдавала в камеру, когда сообщала прогноз погоды или поздравляла ветеранов. Это была другая улыбка — безумная, отчаянная, свободная.

Глаза её остекленели. И она начала смеяться.

ЗВУК: Сначала тихое, как шёпот сумасшедшего в палате №6: «хе-хе-хе».

— Что это с ней? — прошептал оператор, который всё ещё стоял на ногах, но уже подумывал о том, чтобы лечь и не вставать.

Смех стал громче.

— Ха-ха-ха!

Теперь он перекрывал сирену полицейской машины, которая, наконец, свернула в парк и теперь кружила где-то за деревьями, не зная, куда приткнуться.

— А-ха-ха-ха-ха-ха!

Катя отбросила микрофон в сторону. Тот покатился по асфальту, звякнул о бордюр и затих. Она схватилась за голову обеими руками. Её волосы, собранные в хвост, растрепались, и пряди торчали в разные стороны.

— Всё! — закричала она сквозь смех. — А-ха-ха-ха! Конец! А-ха-ха-ха-ха-ха! Я свободна!

Оператор — крупный план. Его камера дрожала в руках, но он продолжал снимать. Объектив был направлен прямо на Катю. На её лицо, на её безумные глаза, на её улыбку, которая не сулила ничего хорошего.

. — Она слетела с катушек. Прошептал он, приближая камеру

И тут на объектив упала капля. Коричневая, тягучая. Она расплзлась по стеклу, как маленькая чума.

Катя хохотала. Каждое «ха» вырывалось из её груди с такой силой, будто она выплёвывала годами накопленное разочарование, обиды, невысказанные слова и несбывшиеся мечты.

ЗВУК: KPP-PP-P-P-P — тонкая, паутинистая трещина пошла по объективу.

Оператор замер. Его лицо исказилось гримасой боли:

— Линза... — выдохнул он еле слышно, не веря своим глазам. — Моя линза... немецкое стекло, «Carl Zeiss», я за неё два года платил... Рассрочку брал, жену не слушал, детей не кормил... а она... треснула...

Катя продолжала хохотать. Её смех уже не был смехом в привычном понимании. Это был вызов судьбе, миру, всему, что привело её в эту секунду в это место.

— А-ха-ха-ха-ха-ха!

Зрители, которые до этого наблюдали за дракой с живым интересом, зашевелились. Толпа начала РАЗБЕГАТЬСЯ. Не потому, что было страшно, а потому, что непонятно, кто из этих сумасшедших следующий бросится на тебя с кулаками или со своим безумным смехом.

Бабушка схватила внука за руку и рванула в сторону выхода со скоростью, неожиданной для её возраста.

— Это радиация! — крикнула она на бегу, не оглядываясь. — Я помню, в институте говорили! Когда смех без причины — это радиация! И пятна коричневые — это не просто так! Это первые признаки!

Внук, которого она тащила за собой как чемодан на колёсиках, успел спросить:

— А когда вернёмся?

— Никогда! — отрезала бабушка. — В этот парк больше ни ногой! Будем во дворе сидеть, у подъезда.

Два мужика — в килте и пижаме — рванули в противоположные стороны. Килтовый побежал к лесу, пижамный — к выходу. Они расстались без сожаления: их дружба закончилась вместе с праздником.

Мужик в килте бежал быстро, но не смотрел под ноги. Он споткнулся о чувака «Пепе, шнейне, фа, ватафа», который лежал на асфальте в позе эмбриона и тихонько шевелил губами. Килтовый полетел кубарем и врезался прямо в оператора.

ЗВУК: БАМ!

Оператор рухнул на асфальт. Камера вылетела из его рук, сделала невероятное сальто — перевернулась в воздухе три раза, описала дугу и с глухим стуком упала на землю, но, о чудо из чудес, продолжала снимать.

КРУПНО: объектив разбит вдребезги. Трещины, как паутина после землетрясения. Но красная лампочка горела. Камера жила.

В кадре теперь были ноги. Много ног. Бабушкины тапки с дырками на пятках. Мужичьи берцы с развязанными шнурками. Детские сандалики. Лапы собачки, которая всё ещё пыталась кого-то укусить — она носилась кругами, заливаясь лаем, и подпрыгивала, пытаясь дотянуться до мужика в килте.

— А ну стоять! — рычала собачка.

Но её никто не слушал. Из кустов доносилось стихающее заклинание:

— Пепе... шнейне... ватафа-а-а-а...

Голос чувака удалялся. Видимо, его инопланетный разум сообщил, что пора сматываться.

Катя сидела на асфальте. Вся в говне. Вокруг никого. Только мусор, разбитая кабинка и где-то вдалеке сирена полиции, которая наконец приблизилась настолько, что стало слышно, как водитель матом обсуждает парковку.

Она смотрела в никуда. И смеялась.

— А-ха-ха-ха-ха-ха...

Её смех подхватили колонки, которые всё ещё выдавали песню. Артист-завхоз, который никуда не убежал, стоял на сцене с закрытыми глазами, с голой жопой и пел, не подозревая, что его концерт превратился в апокалипсис.

ГОЛОС АРТИСТА (из далека):

«В бой роковой мы вступили с врагами. Нас еще судьбы неизвестные ждут.»

Катя подхватила мотив. Теперь она не просто смеялась — она подпевала.

— Но мы поднимем гордо и смело. Знамя борьбы за рабочее дело, а-ха-ха-ха!? Знамя великой борьбы всех народов. А-ха-ха-ха!?

Она была счастлива. Впервые за долгое время.

Мир рушился, карьера летела в пропасть, новенькие кроссовки были безвозвратно испорчены, но она смеялась. И этот смех был её победой.

Сирена полицейской машины приближалась. Видимо, наконец, нашли место для парковки.

Глава вторая

Сказ о том, как протокол допроса превратился в анекдот, а фекальный террорист ушёл от погони.

Отдел полиции. Кабинет, который повидал виды, даже если эти виды были исключительно печальными и пьяными. На подоконнике — открытая банка солёных огурцов. Рядом — гранёный стакан с мутным осадком. Судя по всему, огурцы здесь были стратегическим запасом, а стакан — рабочей лошадкой.

На полу, у стены, безмятежно соседствовали самогонный аппарат (самодельный, с кастрюлей и змеевиком из медицинской трубки), ледоруб (когда-то нужный, теперь просто ржавый), котелок и пулемёт «Максим». Пулемёт выглядел вполне боеспособным, но пыльным. Создавалось впечатление, что его притащили сюда за компанию и забыли. Или же здесь, в этом кабинете, иногда проводили вечера с песнями под гармонь.

Майор сидел за столом, который помнил ещё выговоры за прогулы, и что-то сосредоточенно писал в школьную тетрадку. Тетрадка была в клеточку, с оторванным уголком и рисунком на обложке: «Космос. 5Б». Надпись была выведена синей пастой ещё лет тридцать назад.

Афоня сидел на стуле перед столом. Лицо его напоминало котлету — разбита губа, под глазом фингал, свитер в пыли и с чьей-то кровью (билетёрша оказалась с характером). Он тихонько постанывал, когда делал глубокий вдох.

Майор сидел за столом. Он не поднимал головы.

— Фамилия? — спросил он.

Афоня сипел разбитыми губами:

— Багрищев. Афанасий Сергеевич. Восемьдесят пятого года рождения. Садовая, двадцать два.

— Место работы?

— Муж на час.

Майор отложил ручку, с интересом посмотрел на Афонию.

— Ты что — проститутка? Или как там проститут? Ну, то есть, как оно сейчас... эскорт?

— Сам ты... — обиженно сказал Афоня. — Я сантехник. Слесарь-сантехник. Вызов на дом. Прокладку поменять. Дверцу прикрутить.

Майор снова склонился над тетрадкой, продолжая писать, и не поднимая головы, спросил:

— Где служил?

Афоня откинулся на спинку стула, уставился в потолок.

— А тебе не похер?

Майор поднял глаза, посмотрел на Афонию.

— А к нам участковым пойдёшь?

— Ага, щас! — саркастически, но с ноткой уважения, ответил Афоня. — За три копейки горбатиться на вас?

Майор поднялся, застегнул китель.

— Ты билетёрше руку сломал. И глаз чуть не выбил. Не будь твой покойный отец моим другом — я бы тебя посадил. А где твой засранец-подельник? Этот фекальный террорист?

Афоня удивлённо спросил:

— Какой подельник?

Майор понизил голос почти до шёпота — зловеще тихо:

— Тот, который из платника всё говно на себе унёс. Короче. Его я посажу. За воровство. Или даже расстреляю как бешеную собаку. За вандализм, хулиганство и оскорбление чувств верующих. Я найду, за что, не сомневайся.

Пауза.

— Всё. Пошёл вон отсюда.

Афоня вышел в коридор.

Коридор отдела полиции встретил Афонию запахами: хлоркой, дешёвым табаком и вековой безнадегой. Стены были зелёными — когда-то, наверное, их красили весёлой масляной краской, чтобы подбодрить задержанных. Теперь краска облупилась, штукатурка отвалилась целыми пластами, обнажая серый, больной бетон. В одном месте кто-то выцарапал гвоздём: «Свободу попугаям!» Рядом — приписка шариковой ручкой: «Попугаи уже на свободе».

Пол когда-то был покрыт линолеумом — о чём красноречиво свидетельствовали небольшие, островные клочки по углам, оставшиеся на память о лучших временах. Сам же пол представлял собой бетонную плиту, исцарапанную, в трещинах, заляпанную чем-то, что лучше было не рассматривать. Тусклая лампочка под потолком, прикрытая ржавым колпаком из времён, когда электричество было в диковинку, еле светила, создавая полумрак, в котором лица казались бледными, а тени — длинными и кривыми, как у персонажей Эдварда Мунка.

Афоня шагал по этому коридору, как приговорённый, который уже принял свою участь, но надеется на помилование. Берцы его стучали по бетону с глухим, невесёлым ритмом. Он чувствовал запах собственного перегара (вчерашнего, позавчерашнего — чёрт их разберёт), запах крови на свитере (чужой) и запах страха (свой). Страх, впрочем, был не сильный — так, лёгкое волнение, как перед экзаменом, который ты завалил, но пересдать можно всегда.

Впереди, у стены, стояла скамейка. Самая обычная, деревянная, прикрученная к полу массивными болтами, чтобы её не утащили любители сувениров. На скамейке сидела БИЛЕТЁРША.

Она изменилась. Исчезла её грозная стать, тот самый сфинксовый покой, которым она щеголяла у кабинки. Теперь правая рука её была перевязана бинтами — аккуратно, чуть ли не с любовью, видимо, в местном медпункте работал эстет. Парика, конечно, не было — лысая голова блестела под тусклой лампой, и на этой лысине, как на карте, можно было разглядеть новые ссадины. Один зуб выбит — на месте зияла чёрная дыра, и это придавало её лицу выражение одновременно злое и комичное. Под глазом — синяк, сочный, бардовый, растущий прямо на глазах, похожий на щупальце осьминога.

Взгляд у неё был блуждающий и кровожадный, как у хищника, который загнал добычу, но не может решить, с какого боку её удобнее сожрать.

Афоня остановился на секунду, посмотрел на неё, потом на скамейку, потом снова на неё. — Свободно? — спросил он и не дожидаясь ответа, плюхнулся рядом.

Дерево жалобно скрипнуло, но выдержало — не привыкать.

Пауза. Долгая, тягучая, как карамель, которую забыли на плите. Афоня смотрел в пол, изучая трещины в бетоне. Билетёрша смотрела прямо перед собой — в стену, на которой кто-то из предыдущих задержанных кровью (или чем-то похожим) вывел: «Жить буду, но не здесь».

Тишину нарушал только звук капающей где-то вдалеке воды и чей-то храп из камеры за стеной. Храп был мелодичным, почти музыкальным — уходил в высокие ноты и срывался на басы, как неудавшийся оперный певец.

— А я тебе, правда, руку сломал? — спросил наконец Афоня, не поднимая глаз.

Билетёрша шмыгнула носом. Шмыгнула так, что в коридоре образовался сквозняк. Она не повернулась к нему, но ответила — голосом, в котором боролись усталость и презрение:

— Вывихнул, дебил. У меня связки крепкие. Я в молодости на турнике занималась, пока ты ещё в штаны писал.

Афоня промолчал. Он в штаны писал, конечно, но не в молодости, а вчера. Но вдаваться в такие подробности не стоило.

— Тебе бы спортом заняться, — добавила билетёрша, и в голосе её прозвучала неожиданная нотка наставницы. — Мышцы слабые, удары никакие. Позорище.

Афоня хотел возразить, но вспомнил, как она его раскручивала вокруг себя, и решил, что возражать не стоит. Билетёрша могла и второй рукой, здоровой, нанести контрольный удар.

Он продолжил смотреть в пол — теперь на клочок линолеума, на котором чья-то небрежная рука изобразила солнышко с лучиками. Солнышко улыбалось. Афоня подумал, что у него теперь никогда не будет такого беззаботного солнышка в душе. Только фингалы и вывихнутая судьба.

— Этот... — начал он осторожно. — Который пел на сцене... Он кто там у вас?

Билетёрша резко повернулась. Так резко, что её шея хрустнула. Она сверлила Афоню взглядом — тем самым, от которого, наверное, дошли тараканы в туалете.

— Ты чё, совсем debil? — спросила она, и её выбитый зуб придавал этому вопросу особую, почти философскую глубину. — У кого это — «у вас»? Я что, должна всех содомитов в нашем городе по именам знать?

Афоня проглотил обиду.

— Я про песню, — сказал он, и в голосе его прозвучало искреннее недоумение. — Что за песня-то была?

Билетёрша секунду смотрела на него, а потом её лицо начало меняться. На нём боролись недоверие, злоба и какое-то странное, почти материнское сочувствие.

— Да я посмотрю — ты вообще наркоман конченный, — вынесла она вердикт. — Так. Обрыган. Встал. И съёбастен отсюда. На все четыре стороны, пока я добрая.

Она посмотрела на свою сломанную руку — бинты белели, как знамя безнадеги.

— А то я сейчас второй рукой тебе... — она задумалась, подбирая угрозу, — ...ногу вывихну. Понял?

Афоня не стал ждать повторения. Он молча встал, поправил свитер (насколько вообще можно поправить свитер, который весь в пыли и чужой крови) и, не прощаясь, зашагал по коридору. Берцы стучали по бетону в том же унылом ритме, но теперь ритм стал быстрее.

Билетёрша осталась сидеть на скамейке, гордая, одинокая и злая. Она смотрела ему вслед, и её взгляд был таким, что даже лампочка под потолком заморгала от страха.

— Хоть бы споткнулся, — прошептала она, но Афоня не споткнулся.

Он свернул за угол и исчез в полумраке коридора, растворяясь в зелёных стенах, как призрак, которому не дали покурить.

Глава Третья

Сказ о том, как Керхер смыл не только грязь, но и последние надежды, а люля-кебаб стал символом просветления.

Из динамиков, подвешенных под потолком автомойки, доносилась песня «Но от тайги до британских морей. Красная Армия всех сильнее!». Вокал был мощным, бодрым, хотелось сразу встать и пойти записаться, куда, ни будь добровольцем. Или же отправиться на рыбалку в Африку и начать убивать крокодилов голыми руками.

Автомойка была типичной — таких тысячи по всей стране: железный ангар, облезлые стены, бетонный пол в трещинах, масляные пятна и лужи, которые никогда не высыхали. В углу возвышались горы старых покрышек, рядом — бочка с неизвестной жидкостью, на которой кто-то написал мелом «Не пить — ядовито». Чуть поодаль валялся ржавый каркас от «Жигулей», который, казалось, ждал своего часа уже лет десять. Камеры видеонаблюдения — две штуки, намертво прикрученные к балкам под потолком — были щедро залеплены коричневыми ошметками, которые ещё не успели высохнуть.

Федос влетел сюда, как ошпаренный, ещё за секунду до того, как выскочить наружу. Он уже был на выходе, когда мозг его, наконец, сформулировал мысль: «Я больше никогда не буду есть просроченную колбасу». Но эта мысль была вручена ему на бегу, и он её почти сразу забыл.

На нём всё ещё висел его легендарный плащ. Болотный цвет, который, казалось, впитал в себя все оттенки болотной жижи, теперь украшали свежие, более насыщенные тона. Плащ был мокрым, тяжёлым и издавал аромат, который в приличном обществе мог заменить химическую атаку.

ХМУРЫЙ сидел на перевернутом ящике из-под фруктов — на боку ещё виднелась наклейка «Бананы. Эквадор». Он смотрел мутными глазами в одну точку — туда, где стена встречалась с полом, образуя идеальный прямой угол. Для Хмурого этот угол был центром вселенной. Единственным местом, которое не двигалось, не плыло и не требовало от него никаких действий.

У Хмурого за последние годы длительных запоев атрофировались не только обоняние (он уже и не помнил, как пахнут цветы), но и совесть — тот самый внутренний голос, который у нормальных людей шепчет «не надо, остановись». У Хмурого этот голос давно уволили за прогулы.

Федос подлетел к нему, как подбитый истребитель, и начал тарыхтеть скороговоркой:

— Чествуешь, а? Чествуешь? — он заглядывал Хмурому в глаза, пытаясь найти там хоть искру понимания.

Хмурый молчал.

Федос, не дожидаясь ответа, почти вплотную подошёл и начал тыкать подолом своего ароматного плаща прямо в лицо Хмурому. В лицо! Мокрым, тяжёлым, источающим немислимые ароматы плащом. Хмурый даже не поморщился. Его ноздри, привыкшие к куда более изощрённым запахам (вчера он, например, нашёл в кармане забытую полгода назад котлету и съел её без свидетелей), никак не отреагировали на эту атаку.

— Что я должен чувствовать? — спросил Хмурый с искренним недоумением. — Одеколон, что ли, новый купил?

Федос махнул рукой — бесполезно. С этим человеком, вернее, с этим просветлённым алкогольной деградации, разговаривать на языке запахов было бесполезно.

— Ай, ладно, — сказал он, отступая на шаг и чуть не поскользнувшись в луже собственного достоинства. — Хмурый, братан! Направь на меня этот свой водопад. Смывай цивилизацию. Всю, до основания!

Хмурый посмотрел на него долгим, изучающим взглядом. Потом медленно, величественно, как поднимается тесто, встал с ящика. Лицо его было непроницаемо — маска буддийского спокойствия, которую не могли нарушить ничьи мольбы. Он взял пистолет Керхера — мощный, чёрный, с насадкой, похожей на дуло танкового орудия. Проверил давление. Сто пятьдесят атмосфер. Этого хватило бы, чтобы сбить человека с ног, отодрать старую краску от стен и, как выяснилось, чтобы смыть следы вчерашнего возлияния и сегодняшнего позора.

На секунду он замер, целясь Федосу точно в пах.

—Ну, погнали,... прошептал Федос, зажмуриваясь и крестясь левой рукой.

Хмурый нажал на курок.

Мир взорвался.

Фекальная волна взрывается. Коричневые ошмётки бьют в потолок, залетают за воротник Хмурому, заклепывают камеры видеонаблюдения. Помещение заполнилось едким, удушливым смрадом. Федос вертелся под струёй, как шашлык на открытом огне. Он подставлял то одно плечо, то другое, то спину, то живот. Он чувствовал, как грязь отступает, как смываются слои отчаяния, страха и унижения. В какой-то момент ему даже показалось, что он слышит ангельское пение, но это, скорее всего, лопнула барабанная перепонка.

Процесс длился минуту. Минуту, которая изменила его жизнь. Когда вода, наконец, перестала бить, Федос стоял мокрый, но чистый — как новенький пятак, только что из монетного двора. Его плащ, правда, превратился в мокрую тряпку, но сам он — о чудо! — не имел ни пятнышка.

Вокруг же царил фекальный апокалипсис. Вода, смешанная с тем, что на себе принёс Федос, растекалась по полу, образуя огромные лужи. Стены были забрызганы, потолок — тоже. Камеры видеонаблюдения смотрели в мир мутными, залепленными глазами.

Федос открыл глаза. Посмотрел на Хмурого — тот стоял с опущенным пистолетом, совершенно невозмутимый. Посмотрел на себя — на руки, на ноги, на плащ. И улыбнулся.

— Спасибо, Хмурый, — сказал он, и в голосе его было столько искренней благодарности, что её хватило бы на десятерых. — Ты настоящий друг. Я этого не забуду.

И он быстро, мелко семена, направился к выходу, поскользываясь в лужах, оставляя мокрые следы и чувствуя себя человеком, который пережил перерождение. Правда, перерождение это, судя по всему, было не последним.

Хмурый выключил аппарат. Аккуратно повесил пистолет на специальный крючок — на своё место. И так же спокойно, как сидел, сел обратно на ящик из-под бананов. Из-за пазухи своей промасленной куртки он достал мокрый целлофановый пакет. Внутри что-то хлюпало. Он долго, трясущимися с похмелья руками пытался развязать узел. Пальцы не слушались. Пакет не поддавался.

Хмурый вздохнул — так вздыхают люди, которые привыкли к предательству мира.

— Узел... гад... — прохрипел он сам себе, и в голосе его слышалась обречённость человека, который не может развязать даже собственный обед. — Тва-а-арь...

Он не стал больше мучиться. Рванул зубами — и пакет разорвался, выпустив наружу ЛЮЛЯ-КЕБАБ. Сочный, румяный, с корочкой, которая хрустела. И ломтик хлеба — чуть чёрствый, но ещё годится.

Хмурый жевал с чавканьем, глядя в стену. В его глазах не было ничего — ни мыслей, ни сожалений, ни надежд. Абсолютно. Он был счастлив. Потому что у него были люля-кебаб, тишина и стена, на которую можно смотреть вечно.

И в этот момент в помещение вошла ЖЕНЩИНА.

Лет сорока пяти, хорошо одетая — пальто из дорогой ткани, сапоги на низком каблуке, сумочка из натуральной кожи. Явно при деньгах. Но с плохим зрением — очки в тонкой оправе, которые она носила больше для статуса, чем для пользы.

Она переступила порог, хотела что-то спросить — и сделала ВДОХ.

Мощнейший, буквально физический, осязаемый запах фекалий ударил ей в нос. Ворвался в лёгкие, как непрошенный гость, и устроил там террор. Её лицо исказилось жуткой гримасой — смесь ужаса, отвращения и непонимания. Она зажала нос рукой, глаза её слезились, дыхание перехватило.

Она успела заметить Федоса — тот уже выбегал, оставляя мокрый след и шлейф ещё более свежего аромата. Потом перевела взгляд на Хмурого. Он сидел в полумраке, освещённый одной лампочкой, и с аппетитом пережёвывал какой-то кусок, очень сильно, особенно при этом освещении, похожий на кашку.

— Охренеть... — выдохнула женщина голосом умирающей чайки, в которой смешались пафос и паника. — Дожили... Бомжи... прямо тут... прямо своё...

Хмурый медленно повернул голову. Посмотрел на неё немигающим взглядом человека, который только что вкушал пищу богов (ну, или её заменитель). Сглотнул. И сказал абсолютно серьёзно, ни тени улыбки, не вытирая коричневую каплю, застывшую в уголке губ:

— А вы не хотите? — его голос был задумчивым, почти участливым. — У меня ещё есть.

Женщина не ответила. Она смотрела на него, на люля-кебаб, на стену, покрытую коричневыми разводами, и внутри неё что-то щёлкнуло. Или сломалось. Развернувшись, она вылетела на улицу быстрее, чем забежала.

На улице, согнувшись пополам и уперевшись рукой о стену гаража, её вырвало. Первый раз — глубоко, гортанно, почти рыча:

— Блю-а-а-а! — звук был такой, будто где-то рядом умирал дикий зверь.

Она перевела дыхание, вытерла губы дрожащей рукой — и снова:

— БИ-А-А-А-А! — на этот раз фонтаном, с характерным брызганием и всхлипом.

На подбородке у неё повисли остатки красной переваренной свёклы и кусочки зелёного шпината. Глаза были полны слёз, лицо выражало полное, абсолютное крушение надежд на чистый мир.

А внутри автомойки Хмурый с удивлением, даже с некоторой обидой, посмотрел на свой люля-кебаб. Пожал плечами (мол, что за люди, не понимают тонкой кухни), и снова надкусил.

Жевательные движения были медленными, философскими. Он смотрел на дверь, куда выбежала женщина, и думал: «А может, и правда перебор с кебабами? Нет, не перебор. Это она не пробовала».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.